

Дмитрий Вересов



Семейный альбом

Общий тираж книг Д. Вересова – 5 000 000 экземпляров

Семейный альбом

Дмитрий Вересов

Летописец

«АСТ»

2007

Вересов Д.

Летописец / Д. Вересов — «АСТ», 2007 — (Семейный альбом)

ISBN 978-5-17-061037-2

Киев, 1918 год. Юная пианистка Мария Колобова и студент Франц Михельсон любят друг друга. Но суровое время не благоприятствует любви. Смута, кровь, война, разногласия отцов – и влюбленные разлучены навек. Вскоре Мария получает известие о гибели Франца... Ленинград, 60-е годы. Встречаются двое – Аврора и Михаил. Оба рано овдовели, у обоих осталось по сыну. Встретившись, они понимают, что созданы друг для друга. Михаил и Аврора становятся мужем и женой, а мальчишки, Олег и Вадик, – братьями. Семья ждет прибавления. Берлин, 2002 год. Доктор Сабина Шаде, штатный психолог Тегельской тюрьмы, с необъяснимым трепетом читает рукопись, полученную от одного из заключенных, знаменитого вора Франца Гофмана. Что связывает эти три истории? Оказывается, очень многое.

ISBN 978-5-17-061037-2

© Вересов Д., 2007

© АСТ, 2007

Содержание

Пролог	5
Глава 1	10
Глава 2	18
Глава 3	24
Берлин. 2002 год	33
Глава 4	38
Глава 5	43
Глава 6	49
Любовь и смерть	51
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Дмитрий Вересов

Летописец

О да! Конечно же, не иначе как я был рожден на чердаке! Что там погреб, что там дровяной сарай – я решительно высказываюсь в пользу чердака! Климат, отечество, нравы, обычаи – сколь неизгладимо их влияние; да, не они ли оказывают решающее воздействие на внутреннее и внешнее формирование истинного космополита, подлинного гражданина мира! Откуда нисходит ко мне это поразительное чувство высокого, это непреодолимое стремление к возвышенному? Откуда эта достойная восхищения, поразительная, редкостная ловкость в лазании, это завидное искусство, проявляемое мною в самых рискованных, в самых отважных и самых гениальных прыжках? – Ах! Сладостное томление переполняет грудь мою! Тоска по отеческому чердаку, чувство неизъяснимо-почвенное, мощно вздымается во мне! Тебе я посвящаю эти слезы, о прекрасная отчизна моя, – тебе эти душераздирающие страстные мяуканья! В честь твою совершаю я эти прыжки, эти скачки и пируэты, исполненные добродетели и патриотического духа! Ты, о чердак, поставляешь мне от щедрот своих то мышионка, то кусочек колбасы или ломтик сала, – ты порой позволяешь мне извлечь их из чрева дымохода, – о да, порою даже ты позволяешь мне изловить, скажем, зазевавшегося воробушка, а порою даже подкараулить и сцапать жирного голубка. О, сколь безмерна нежность к тебе, родимый край!
Э. Т. А. Гофман. Житейские воззрения кота Мурра

Пролог

Берлин. 2002 год

В высшей степени замечательно и поучительно, когда великий ум в автобиографии своей распространяется обо всем, что случилось с ним в его юности, обо всем, каким бы незначительным все это ни казалось. – Впрочем, разве в жизни высокого гения может когда-либо произойти хоть что-либо незначительное?¹

Дверь кабинета фрау Шаде распахнулась: здесь не принято было стучать. В проеме замер лейтенант Клотц с объемистой папкой в руках.

– Вы позволите, доктор? Это для вас.

– Проходите, Герман. От кого на сей раз?

– Вы не поверите. От самого Франца Гофмана! Наш знаменитый коротышка оказался ко всему прочему еще и писакой. Как вам это понравится?

– Может быть, и понравится, Герман, а может быть, и нет, – вздохнула фрау Шаде, штатный психолог Тегельской тюрьмы, – прочитайте, так или иначе, придется.

– Мы проверили рукопись, доктор. Опасных вложений нет. А вам следует расписаться. Вот здесь.

– Откуда быть опасным вложениям, лейтенант Клотц? – спросила фрау Шаде, расписываясь в получении рукописи. – Вы его боитесь?

¹ Здесь и далее эпиграфы из «Житейских воззрений кота Мурра» Э. Т. А. Гофмана.

– Нет, нисколько, но он странный, как будто не от мира сего. Не знаешь, чего от него ожидать.

– Он умнее многих, лейтенант.

– Не знаю, но смотрит... Знаете, фрау доктор, если бы не его крошечный рост, я бы сказал, что смотрит он свысока. Понятно ли я выражаюсь?

– Вполне, Герман, вполне понятно. Он себя и ценит высоко и, возможно, не зря. Сколько времени его разыскивали? Не помните?

– Года два, не меньше.

– И это после серии невероятно дерзких ограблений, которые он совершал, уже будучи в розыске. Прямо под носом у криминальной полиции. Ему есть чем гордиться, вам не кажется?

– Фрау Шаде?!

– Герман, я шучу, конечно же. Но ведь он едва не стал человеком года, настолько был популярен, если помните. Все газеты кричали о его «подвигах». Ограбление железнодорожной кассы, ограбление частной авиакомпании, ограбление ювелирного магазина, ограбление букмекерской конторы. Это, кажется, еще не все?

– Не все, доктор. Причем многое до сих пор не доказано, его подозревают не только в ограблениях, но и в мошенничествах. Его взяли с поличным, причем совершенно случайно, а иначе он, пожалуй, еще до сих пор бы развлекался на свободе.

– Он по-своему талантлив.

– Вам виднее, фрау Шаде, – проворчал Клотц, у которого в голове не укладывалось, что преступник, даже такой легендарный, как Франц Гофман, способен обладать умом и талантом. – Вас подвезти вечером?

– Спасибо, Герман, – ответила фрау Шаде, – мою машину починили.

– Что же, приятного чтения, доктор, – съязвил лейтенант и удалился, сделав четкий поворот направо кругом, бывший военный как-никак, и лейтенантом его называли по той причине, что именно в этом звании он, пограничник, подал в отставку после того, как объединились две Германии. Он служил в районе Ораниенбурга и охранял Тегельский канал, вылавливая своих не в меру предприимчивых восточноберлинских сограждан, надумавших вплавь пересечь границу в обход известной стены и приобщиться к радостям свободного мира. Беглецы оставляли обувь в вязкой прибрежной грязи канала, рвали одежду и кожу о колючую проволоку заграждений и железную арматуру, торчащую из воды. Лейтенант Клотц возвращал неразумных детей родине, где их ожидало примерное наказание и труд во благо общества. После отставки он получил получиновничью должность в знаменитой своими легендами Тегельской тюрьме, и теперь, по прошествии полутора десятков лет, Германа Клотца стало несколько коробить именованье его лейтенантом. Не по возрасту это. А фрау психолог наверняка это понимает, но иногда не преминет... Впрочем, женщина она хоть и лукавая, но романтическая, а кокетство – и это известно опытным мужчинам, каковым почитал себя экс-лейтенант, – кокетство проявляется частенько в самых неожиданных формах.

Фрау Шаде, которую подозревали в изощренном кокетстве, взвесила папку в руках, вздохнула, положила обратно на стол. Придется читать, ведь это ее обязанность. Заключенные не так уж редко поставляли ей подобное чтение; многие были от природы истериками, и такого рода деятельность – письменная исповедь – шла им на пользу, а ей, как психологу, помогала понять истоки девиантного социального поведения подопечных. К некоторым из них она приглашала психиатра или психоаналитика, так как сама не была уполномочена заниматься психоанализом, платили ей вовсе не за это, ее деятельность была ограничена строгими рамками.

Она беседовала с заключенными, проводила тестирование, анализировала результаты тестов, определяя психологические типы. На основании своих выводов она составляла докладные. Например, о том, на какую работу лучше направить того или иного заключенного, или о психологической совместимости либо несовместимости однокамерников. Кому же нужны

лишние конфликты? Чаще всего начальство внимало ее доводам, а иногда по каким-то своим соображениям поступало наоборот, и в этом случае почти всегда дело рано или поздно доходило до отчаянных, насмерть, драк, психических срывов и даже до суицидальных попыток.

До конца рабочего дня оставалось больше двух часов, и фрау Шаде, уже уставшей, пришлось взять себя в руки, чтобы сесть за чтение трактата Франца Гофмана. Она опасливо поглядела на черную папку и попыталась представить себе ее содержание. Исповедь? Не может быть. Он слишком самодостаточен, этот неуловимый малыш. Оборотень, как прозвали его газетчики. Тогда что же это? Роман? Впрочем, что гадать!.. И она открыла папку.

«Досточтимая фрау Шаде...»

Надо же, каков слог!

«Досточтимая фрау Шаде, позвольте выразить Вам глубокую благодарность за то удовольствие, которое мне доставили беседы с Вами, пусть даже они велись в сей мрачной обители, пусть даже они были не столь продолжительными, как мне бы того желалось».

Беседы? Фрау Шаде внутренне передернулась, вспомнив их «беседы». Она так и не смогла разгадать этого сублимного карлика. Такое впечатление, что он тестировал ее, а не наоборот. Он просвечивал ее своим бесцветным холодным взглядом, был спокоен, полон достоинства и слегка – не обидно – ироничен. Иногда ей казалось, что они разговаривают на разных языках: вроде бы слова одни и те же, но то, что стоит за этими словами... Такие ощущения иногда бывают, когда разговариваешь с шизофрениками, но Франц Гофман, без всяких сомнений, был абсолютно нормален. Это подтверждали данные ассоциативного эксперимента, методически очень надежного. Гофман быстро отвечал на вопросы, давал те ответы, которые обычно дают люди без психических отклонений, и при этом тонко, едва заметно улыбался, словно знал, какого ответа от него ожидают, более того, словно знал, каким будет следующий вопрос. Да! Без сомнения, он был нормален. Нормален, но аномален. Словно родился на другой планете. Хотя ей (именно ей) абсолютно точно известно, что это не так.

Выглядел Франц юношей, а при тусклом освещении мог сойти и за двенадцатилетнего мальчика, и голос у него был слишком высокий, но чистого – «дикторского» – тона, с мягкими модуляциями, как будто синтезированный. Редкое явление для мужчины балзаковского... нет, конечно же, этот эпитет применим лишь к женскому возрасту. А лет ему было столько же, сколько доктору Шаде. Доктор Шаде и сама была весьма миниатюрна, но выглядела даже чуть старше своих лет – с юности была не очень здорова, а сейчас еще подступили проблемы одинокой сорокалетней женщины. Да, она ощущала себя сорокалетней, хотя планку в тридцать три года – канонический возраст Христа – перешагнула всего два с небольшим месяца назад.

И вот теперь, когда, надо признаться, она немного запустила себя, появляется человек, к которому она не может не испытывать интереса, даже расположения, и не стоит обманывать себя, не стоит внушать себе, что этот интерес чисто профессиональный и что рукопись она читает только по обязанности.

Она продолжила чтение.

«Дражайшая фрау, вот Вам вопрос: верите ли Вы в судьбу? В неизбежность встреч и возвращений на круги своя? В предопределение? Впрочем, что это я? Разве можно задавать такие вопросы психологу? Как раз и запишет в сумасшедшие. Не беспокойтесь, фрау доктор, не беспокойтесь, говорю я Нет причин для беспокойства! Перед Вами отнюдь не учение нового пророка-параноика, не покаянная исповедь преступника, желающего сократить срок пребывания в заточении, не сценарий кровавого триллера, не комедия положений, не „сказка из новых времен“. Хотя, кто знает, может

быть, в конце концов все перечисленные жанры и найдут свое отражение в моем манускрипте. Кто знает, может быть, все, что Вы, фрау доктор, прочтете, покажется Вам полным абсурдом. Но я уповаю на Вашу профессиональную добросовестность и потому уверен, что рукопись будет прочитана Вами до конца. С какой целью, Вы спросите, я тратил досуг и силы на бумагомарание? Что ж, давайте пока считать, что я не лишен авторского тщеславия, что я в восторге от самого себя. Или будем считать, что все дело в неудовлетворенном половом инстинкте заключенного, и сей манускрипт – сублимация в чистом виде. Считайте как хотите. Неважно все это, дражайшая фрау!..А я начинаю тем временем повесть о том, откуда я, кто я, и, возможно, о том, куда я иду. Занавес, фрау! Вигилия первая.

Мой прадед, профессор Киевского университета Михельсон, немец по происхождению, во время Гражданской войны, произошедшей в России после революции семнадцатого года, сделал все, чтобы вывезти семью в Германию. Ему, насколько я понимаю, не нравились большевики, не нравилась восставшая чернь, не нравились политические спекуляции, не нравилась любая военщина, не нравился дефицит продуктов. И дрова воровать он, понятное дело, не умел, а такое умение становилось необходимостью суровой зимой второго года революции. Поэтому, воспользовавшись связями, он буквально в последний момент, накануне взятия Киева большевиками, вывез в Германию жену и сына – моего тезку и будущего деда...»

Фрау Шаде вздрогнула, услышав телефонный звонок. Звонили с контрольного пункта. Она, оказывается, увлеклась чтением, а на посту беспокоились, так как рабочий день уже полчаса как закончился. Где же фрау доктор и ключ от ее кабинета?

– Сию минуту спускаюсь вниз, герр Лемке, – ответила фрау Шаде знакомому пожилому контролеру, – простите, заработалась.

– Так ведь пятница, фрау. Стоит ли задерживаться перед выходными? – укоризненно проворчал Лемке.

– Сию минуту спускаюсь, – повторила фрау Шаде.

Надо же, зачиталась и совсем забыла, что хотелось домой, в уютное кресло под свет абажура, что хотелось переодеться в любимый синий халат и сбросить туфли с отекающих в последний год ног... Рукопись затягивала, что твой омут. Завораживал мелкий, но четкий почерк с вычурными, под старину, росчерками, немыслимым и странным образом облагородивший сероватую и ломкую тюремную бумагу. Фрау Шаде казалось, что подобную каллиграфию она когда-то видела. Но когда и где это было? В другой жизни, что ли, во сне? А может быть, тот забытый или приснившийся почерк и не имел никакого отношения к начертательности, к письмам, к тому, что связано с ручкой и бумагой? Может, это был почерк движения по жизни, почерк, которым пишут судьбу? Скажите, какие округлые, ясные и уверенные сальто гласных! Какие отточенные и грациозные пируэты согласных! Как прицельно расставлены знаки препинания – словно выверенные точки приземления и высоких пружинистых прыжков на гимнастическом ковре.

Впрочем, на исписанные страницы можно посмотреть и с другой точки зрения, с чисто эстетической. Слова, строки представлялись тонкими изящными цепочками с замысловато соединенными звеньями-буквами, каждая из которых могла бы служить эскизом к самостоятельному ювелирному изделию, брелочку ли, кулону ли, подвеске к сережке или браслету. Фрау Шаде не отказалась бы украсить себя несколькими рядами таких вот цепочек, будь они из серебра или белого золота, и всенепременно приобрела бы маленький дамский перстень-печатку, если бы на нем была выгравирована такая вот заглавная буква «S» – первая

буква ее имени – с подчеркивающим элегантный поворот двойным контуром и намеком на нечто растительное в росчерке – лиану, стебель кувшинки или вьюнка.

...Если женщина средних лет примеривает к себе чужой почерк, то никак нельзя сказать, что она потеряла вкус к жизненным переменам и махнула на себя рукой. Что ж! Фрау Шаде все еще была достаточно женщиной, и женщиной весьма разборчивой как в выборе украшений, так и в знакомствах, несмотря на одиночество, частую хандру и постоянные бытовые неурядицы. От такого рода неурядиц, к несчастью, никто не застрахован, но на некоторых, и фрау Шаде входила в число этих судьбою избранных «некоторых», мелкие неприятности так и сыплются, как рис на новобрачных.

Когда она выходила замуж, совсем еще молоденькой девочкой, она в своей юной непримиримости по отношению к мещанским обычаям наотрез отказалась от фаты, и ей пришлось об этом сильно пожалеть, так как зерна риса, которыми щедро осыпали молодоженов, застряли у нее в прическе и попали за декольте, что было еще более неприятно. Тогда новоиспеченная фрау Шаде и поняла, что от обрядового антуража либо нужно отказываться целиком и полностью, либо ни на шаг не отступать от традиций. Так, фата и рис на свадьбе – вещи неразделимые. В точности как владение автомобилем и соблюдение правил дорожного движения. Ее муж, который вообразил, что уж ему-то на его выпендрёжном «Альфа-Ромео» все можно, ночью разогнался до ста шестидесяти километров на трассе Берлин – Потсдам, а покрытие-то было мокрым после ливня, и «Альфа-Ромео» на плавном изгибе шоссе ракетой сиганул в кювет и взорвался, озарив окрестности, и быстро сгорел. Вместе с Дитрихом Шаде, известным тренером малолетних гэдээровских гимнасточек.

Что это она вдруг вспомнила мужа-тренера? События давно минувших дней. А между прочим, сейчас обязательно еще раз позвонит старичок Лемке и прогнусавет что-нибудь сверхостроумное по поводу женской рассеянности и необязательности. Что бы ему не оставить ее в покое! Кому она тут мешает, в своем кабинетике? Сидит себе, читает и читает.

Прочитала она не более пятой части этого странно притягательного творения и теперь с трудом преодолевала желание снова усесться на стул и продолжить чтение. Впрочем, что же это она? Вполне можно взять с собой рукопись на выходные и почитать дома, в том самом уютном кресле под кремовым абажуром, в любимом халате цвета оперения птицы счастья и толстых носках ручной вязки.

Фрау Шаде захлопнула папку, положила ее в пластиковый пакет, заранее приготовила ключи от машины, заперла кабинет и торопливо направилась к лифту. Вслед ей из запертого кабинета затрезвонил телефон. Лемке, конечно же. Но он опоздал. Опоздал, старый хрен! Она уже в пути. Теперь быстрее, как можно быстрее нужно добраться до дома. У нее есть очень важное дело – дочитать до конца сочинение Франца Гофмана. Вот-вот! Это очень важное дело.

Глава 1

Почему судьба не замкнула нашу грудь, дабы не превратить ее в игральные роковых и пагубных страстей? Почему мы, подобно хрупкому, колышущемуся тростнику, вынуждены покорно склоняться под житейским ураганом? О враждебный, о неумолимый рок!

Мария сидела в темной по-зимнему гостиной и поглаживала кончиками пальцев клавиши фортепьяно – прощалась.

– Маня! Мария! Машенька-а! Муся! Где мое пенсне, Машер, ты не видела?

Папа ежедневно терял пенсне. Папа не был особенно близорук, поэтому пенсне он оставлял где попало. Маша обычно весело помогала отцу в поисках этого символа адвокатской респектабельности, но сегодня традиционная пропаша вызывала досаду. Маша тихонько опустила крышку фортепьяно и, кутаясь в старую мамину шаль с обтрепанной вышивкой, скользнула к окну и спряталась за пыльной шторой. Оконное стекло сковали ледяные узоры, и теперь оно выглядело чистым, хотя не мыли его уже без малого два года, с самого начала «революции», как папа называл случившийся в самый разгар войны переворот. Папа называл «революция», а Франц, вслед за своим отцом, – «переворот».

Отец Франца, профессор-историк Отто Иоганнович Михельсон, увозил семью в Германию, где у него сохранились дальние родственные связи. Отто Иоганнович не верил в русскую революцию, а впрочем, и ни в какую другую. Он утверждал, что нет никаких революций, а есть политическое безобразие, переворот с гнусными целями. Отто Иоганнович приводил убедительные исторические аналогии и уверял, что любая революция – это, во-первых, во-вторых и, господи, в-третьих, террор, террор и еще раз террор. Революция пожирает своих детей. Вспомните Робеспьера! Впрочем, он сам виноват. В России же, стране крайне безалаберной, все, надо полагать, просто перережут друг друга. Хаос, господи! Грядет хаос, глад и мор. Конь блед хрипит и бьет копытом. Даже немцы не смогли навести здесь порядок и теперь, судя по всему, оставляют Киев на произвол судьбы. На произвол этой вашей «революции». Нет никакого сомнения в том, что и гетман Скоропадский здесь не задержится, если он умный человек. Уйдет с немцами. Вот увидите! Поэтому едем, и как можно быстрее. Францу необходимо закончить образование. Жаль, конечно, что он пошел по естественному, а не на историко-филологический или философский факультет. Германия – страна философов, мыслителей! О-о!

Мама Франца, Александра Юрьевна, вняв сыновним мольбам, церемонно пригласила Марию сопровождать их под видом горничной, потому что обвенчаться они, конечно же, не успеют, да и дело ли это – наспех венчаться.

Отъезд был назначен на завтрашнее утро. Ехать собирались санитарным поездом, к которому были прицеплены два шоколадно-кремовых «пульмана» и почтовый вагон. Семейству Отто Иоганновича, имевшего приятельские отношения со штабными, полагалось отдельное купе.

Маша еще ночью собрала в ковровый саквояж все самое необходимое – смену белья, туалетные принадлежности, два платья, туфельки, скромные свои драгоценности. Она пряталась за шторой, откладывая разговор с отцом. Ее отъезд выглядел не слишком красиво, все готовилось втайне от папы, который в приподнятом настроении, ничем на Машин взгляд не оправданном, ожидал прихода «красных» – адвокат Колобов сочувствовал революции. «Питал иллюзии», как выражался Отто Иоганнович. Но дело было – по крайней мере, для Маши – дело было не в политических разногласиях двух интеллигентных пожилых людей. Дело было в том, что отец оставался совсем один. Мама ушла от них четыре года назад.

Машины воспоминания о маме были отрывочны, словно хроникальные кадры в синематографе. Мама в разлетающемся капоте, низко, почти до бровей, повязав газовый шарф, поливает из кувшина пышно цветущие петунии на мелком французском балкончике у них на Фундуклеевской. Мама в ялтинской купальне – белая сборчатая сорочка, белый ажурный шелк чулок, амбrella, на белой полотняной салфетке лубяное решето с черешнями. Они с мамой едят черешни и сплевывают косточки в бумажные фунтики. Мама, благоухающая ландышем, возвращается ночью из оперы, возбужденная и притихшая одновременно, – Собинов в «Онегине». Мама в кресле-качалке курит папироску сквозь длинный, черного дерева, мундштук. У мамы темная прическа а-ля Клео де Мерод – прямой пробор, волосы спущены на щеки и под затылком уложены в пучок заплетенными косами. У мамы желтоватые от никотина зубы под тонкой верхней губой, диковатый кокаиновый взгляд. Мама на сцене театрала, что в Купеческом саду, читает Бальмонта, после нее поет удивительная, несравненная Вяльцева. Мама принята в салоне Зелинской-Луначарской, где собирается цвет киевской интеллигенции. Мама в длинной косынке сестры милосердия, из-под косынки выбилась остриженная прядь. Длинное пепельное платье, фартук и нарукавники с застиранными пятнами.

Это папа настоял (себе на беду настоял), чтобы она, недоучившаяся в свое время медичка, хотя бы раз в неделю помогала в офицерском госпитале, когда с фронта в Киев стали поступать раненые. Мама ухаживала за штабс-капитаном, сербом по происхождению, волею судеб оказавшемся в рядах русской армии, а потом уехала вслед за ним на фронт сестрой милосердия. И сгинула. Отец больше недоумевал, чем переживал по этому поводу. На переживания у него не оставалось времени, он посещал какие-то политические собрания, участвовал в митингах, организовывал сборы в пользу раненых. Затосковал он лишь через год-полтора, когда в связи с революционными событиями, постоянной сменой военных властей, не одобрявших общественную деятельность, митинги прекратились, да и слова, произносимые на них, поистерлись, полиняли, иссякли. Виду он не подавал, но нетрудно было догадаться о его горестных переживаниях, когда он как бы невзначай просил Марию, талантливую музыкантшу, играть любимую мамой увертюру к «Тангейзеру».

Отец распахнул обе дверные створки гостиной:

– Маша, да где же ты? Мое пенсне. Выходи, тебя видно!

– Папа, я больше чем уверена, что твое пенсне на туалетном столике в ванной комнате. Ты и завтракал без пенсне, – сказала Маша, не покидая своего убежища и не отводя взгляда от застывших водопадов, ледяных пальмовых ветвей и алмазных россыпей.

– А? Ну да. Угу. Спасибо, дочь. Почему ты прячешься? Настроения?

– Так, – рассеянно ответила Маша.

– «Так»! – передразнил отец. – Женщины! Ну-ну. Ты бы сыграла под настроения. Брамса, а? Или вот это:

Ну так пойте же, клавиши, пойте!

А вы, звуки, летите быстрее!

И вы Богу страничку откройте

Этой жизни проклятой моей! —

с дурашливым надрывом пропел Всеволод Иванович.

– Не хочется, папа. И ты же знаешь: я не люблю уличных песенок. Откуда взялся этакий шедевр?

– Любонька принесла. Так где, ты говоришь, мое пенсне?

– В ванной, папа.

Отец скрылся в глубине квартиры, а Мария чертила пальцем по мраморному подоконнику и ругала себя за то, что так и не решилась поговорить с ним, рассказать об отъезде. Или

сбежать? Оставить записку и сбежать? Совсем дурно. И стыдно. Непростительно. Так сбежала мама.

Чтобы не думать о том, как она будет разговаривать с отцом, Маша стала вспоминать о том, как она познакомилась с Францем. Дело было в начале сентября. Маша играла на каком-то утреннике, проходившем на квартире прокурора Старовойтова. Кто его знает, что это был за утренник. Папа попросил там играть, и она играла, хотя старый «беккер» был не в лучшем состоянии, западала правая педаль, а на верхнем «до» раздавалось дребезжание: похоже, что где-то в корпусе была трещина. Мученье сплошное было, а не игра.

Франц, который пилил смычком плохо натянутые жилы изнуренной виолончели, стыдился и тоже мучился, не только из-за того, что инструмент был плохо настроен, но и потому, что он вообще музыкантом был, мягко говоря, не слишком хорошим. Не было у него музыкального дара. К тому же его никто не слушал, все разбрелись по углам и шептались в ожидании чая с коржиками из непросеянной муки.

Франц по университету был знаком с сыном Старовойтовых и таким образом попал на утренник. Он подошел к Маше, товарищу по несчастью, после унылого дивертисмента и увел во внутренний дворик с засоренным фонтаном и сливовыми деревьями. Они там просидели бог знает сколько, а потом встречались каждый день: на Крещатике, в кондитерской Жоли, у Днепра и даже на полупустом теперь Еврейском базаре. Франц был принят Машиным отцом как жених, а Маша была представлена родителям Франца. Однажды Франц пришел в отсутствие отца, и случилось то, что случилось. Маша несколько об этом не жалела, а наоборот, полюбила еще больше и уже по-другому, «по-взрослому». Теперь они стремились к уединению. Их покрывала Любонька, «прислуга за все», грамотная девушка из мещан, работавшая в доме Колобовых.

Любонька ничего толком не умела, она была обожательницей бульварных романов и кадрили, а к хозяевам относилась словно к детям неразумным. Сами не знают, чего хотят: то им в доме не убрано – пыль по углам гнездами, то картофель плохо чищен. Так ведь невозможно каждый божий день мести, а картошка мытая и вареная – съедобная.

Маша слышала, как Любонька загремела на кухне посудой, и отправилась бросить хозяйский взгляд. Похоже, девушка опять что-то погубила, судя по стеклянному грохоту.

Любонька вдохновенно распевала на кухне:

Потом я, бедняжка, в больницу пошла,
Мине доктора осмотрели.
Но все-таки с голоду я померла,
Скончалась на прошлой неделе!

– Любонька, что за ужас такой – «мине»! Ты же грамотная девушка!

– Грамотная, а так – «мине» – смешно, Мария Всеволодовна.

– Что смешного? Кошмар!

– Смешно, – настаивала румяная Любонька и разводила пальцем пенные круги в лоханке для мытья посуды – творила спиральную галактику.

– Что ж, пусть смешно, не стану спорить, – махнула рукой Маша. – Разбила что-то?

– Не успела, – весело отмахнулась Любонька.

– Машер, в ванной нет пенсне, – заглянул в кухню обиженный папа, – оно пропало навсегда.

Мария внезапно решила:

– Папа, мне нужно с тобой поговорить.

– А., пенсне?

– Папа, пенсне – это сейчас неважно, найдется твое пенсне, оно всегда находится. Папа, надо поговорить.

У Маши дрожали руки и подбородок.

– Ой, что же это будет?.. Ой-ой! – забормотала Любонька, ныряя по локоть в лохань. Она догадывалась о цели беседы и трусила. От резких Любонькиных движений в лохани поднялась высокая штормовая волна. Мыльная вода плеснула ей на ноги, забрызгала подол Марии и стеганные лацканы домашней куртки Всеволода Ивановича.

– Любовь! – взревел он, брезгливо стряхивая радужные пузыри. – Любовь! Ты наказание, а не прислуга!

– Извиняюсь, – пробубнила Любонька, обращаясь к водным глубинам, и невзначай опять набрызгала. – Извиняюсь. Только что вам, Севлод Иванович, в моей кухне-то делать?

– Одно слово – наказание! – громко прошипел Всеволод Иванович. – Так что там у тебя, Маша, за сверхважное дело? Идем, что ли, в кабинет.

Кабинет был узкий и длинный, словно Машин гимназический пенал. Огромный колченогий папин стол, который он не променял бы ни на какой другой, помещался у окна – боком. Вплотную к столу – резное дубовое кресло, чистить завитушки которого заставляли Любоньку за особые провинности. У Любоньки в таких случаях от обиды губы теряли очертания, голубенькие глазки переливались через край, а на зачесанной под гребенки макушке поднимался пышный ржаной хохолок.

Вдоль стены кабинета – узкий кожаный диван, к спинке которого пришпилена белая льняная дорожка с прошивками – Любонькин подарок. Папа дорожку эту терпеть не мог и стеснялся ее, когда принимал посетителей. И – книги. Книги на сплошных стеллажах, на столе, на подоконнике, на диване, на единственном здесь венском стуле, который папа увел из кухни у Любоньки из-под носа и не велел забирать назад. Книги. Даже кое-где на полу.

Мама называла кабинет «нора адвоката» и грозила завести таксу, или терьера, или еще какую-нибудь охотничью норовую собаку, чтобы вытаскивать оттуда Всеволода Ивановича, когда он, увлеченно изукрашивая воланами и рюшами метафор очередную свою пламенную речь, переставал воспринимать серую повседневность с ее обедами, ужинами, теплыми ботами, вонью увядающих букетов, пропавшими билетами в оперу, вороватой прачкой и деньгами «на хозяйство».

Папа протиснулся за стол и сел сложа руки с праздным видом. Мария забралась с ногами на диван и молчала, собираясь с духом.

– Так что же, Машенька? Новое платье, если не ошибаюсь? Или белье? Так ведь сейчас не шьют?

– Какое может быть платье, папа? Я уезжаю завтра с Францем, – выпалила Мария.

– Позволь.

Папа привычным движением хотел снять пенсне, чтобы лучше видеть, но оно по-прежнему было неизвестно где. Невозможность совершить ритуальный жест вызвала у него раздражение.

– Позволь, – повторил он нервно, – куда это? С какой такой стати? Что значит «уезжаю»? С какой стати? С Францем.

– С Францем, с его родителями. В Германию. В санитарном поезде.

Маша отвернулась и опустила голову. Главное сказано, а теперь начнется самое неприятное – разговоры, уговоры, возмущение, может быть, даже крики и слезы.

– В санитарном поезде? Как мать? Мария, ты бредишь.

– Там есть пассажирские вагоны, папа. Я выйду замуж за Франца, в Германии. А здесь жить уже нельзя.

– Мария, ты все же бредишь. Замуж. Не спросясь живого отца. Хотя кто сейчас спрашивает!.. Послушай, а ты, случайно, не... гм-м-м. Ты, случайно, не... в положении ли? Прости,

что спрашиваю, – проскрипел отец, скрывая за ехидной интонацией смущение, которое у него вызвал собственный вопрос.

– Папа! Вовсе нет! Но... мы должны пожениться.

– Поня-я-ятно, – протянул отец и начал растирать щеки, – понятно.

– Я завтра еду. Здесь жить нельзя, – повторила Маша.

– Почему это нельзя? То есть сейчас, конечно, нельзя, не спору. Но скоро придут большевики, постепенно все наладится, если им помогать. Если помогать победившему народу...

– Папа, мы не на митинге, – почти уже плакала Маша.

– Не на митинге, ты права. Но все равно, как же покидать родину? К тому же ради Германии. Мы, как ни крути, находимся в состоянии войны.

– Папа! Какая война! Какая родина! Та война кончилась, и родина вместе с нею. Так Отто Иоганнович говорит, а он историк. Франц уезжает, и я с ним.

– Ерунда, Маша. Отто Иоганнович – известный филистер, ему бы колбасную завести или булки с марципаном печь, а не древнюю историю юношеству читать. Пусть его уезжает. А твой Франц мог бы и остаться, раз у вас такая любовь, что жениться приходится.

– Папа, – Маша взяла себя в руки и не заплакала, – папа, Францу нужно доучиться, а здесь это невозможно. А мне нужно за Франца замуж. Я уезжаю. Прости.

– Мария, это возмутительно! Ты сейчас не понимаешь. Не хочешь понять! Ты эгоистична, как твоя маман, упряма, как сто ослов. Ах, что там говорить! Пойдем-ка.

Отец решительно поднялся и жестко взял Марию за плечо.

– Пойдем-ка, Машенька.

Всеволод Иванович почти стащил Марию с дивана и повел. Она, недоумевая, шла. Оказывается, отец вел ее в ее же комнату.

– Вот так, – сказал он. – Понимаю, что разговоры-уговоры бесполезны. Побудь-ка пока здесь, Мария. Это тебе же на пользу.

Он поспешно вышел спиной вперед, быстро захлопнул дверь и повернул снаружи ключ.

– Это тебе же на пользу! – донеслось из-за запертой двери.

Потом Всеволод Иванович заглянул на кухню и обратился с грозным наставлением к Любоньке, которую с полным основанием считал потатчицей и подстрекательницей:

– Любовь! Мария Всеволодовна заперта до завтрашнего вечера! Она никого не принимает. Ясно тебе? Ни-ко-го не принимает!!! И никуда не выходит. И никуда не едет. И никаких записок не читает. Ясно тебе, я спрашиваю?

– Ясно, – прошептала Любонька, присев с перепугу.

– Или еще лучше, иди-ка ты домой, и чтобы до завтра духу твоего здесь не было. Не потерплю заговора!

А Мария как стояла у двери, так и сползла по косяку. Все рухнуло, все потеряно. Она знала, каким беспощадным и деспотичным может иногда стать отец. Беспощадным и деспотичным, как всякий либерал. Так мама говорила. Мама-беглянка, мама-предательница и неверная жена. Франц. Франц. Фра-а-анц! Франц.

* * *

Мария, к тайной радости Александры Юрьевны и к явной радости Отто Иоганновича, к поезду не явилась. Франц до последней минуты нервно топтался на обледенелом перроне в ожидании невесты, все глаза проглядел. В конце концов поезд тронулся, и юношу пришлось втаскивать в вагон за шкурку и за руки, благо проводник помог. Проводнику в подарок был дан большой носовой платок Отто Иоганновича, так как местная «валюта» до предела обесценилась, и чаевые, выданные ею, могли быть восприняты как оскорбление.

Франц приткнулся в углу купе, сбив рогожку, покрывавшую плешивый бархат сиденья, не двигался и молчал уже часа четыре. Александра Юрьевна, которую утомило мелькание столбов на фоне заснеженных просторов и дутье из трещины на оконном стекле, потребовала чаю, вытащила из корзинки узелок с сухариками и сказала, обращаясь к сыну:

– Не убивайся, мой мальчик. Может, оно и к лучшему. Может, не она вовсе твоя судьба. Женщин много, и ты найдешь свое счастье. Поверь мне, Франик, и очнись наконец. Тебя ждет Европа, цивилизация, библиотеки, музеумы, театры, прекрасные образованные девушки.

– Мама, не надо, – замотал головой Франц.

– Я все понимаю, дорогой. Но если бы она вправду любила, то явилась бы несмотря ни на что. Не оправдывай ее.

– Мама, не надо, – с досадой повторил Франц и совсем отвернулся.

– Все пройдет, дорогой, со временем все пройдет. Не столь страшны сердечные раны, сколь кажутся. Особенно в молодости.

– Ты весьма опытна, Зандра, в части сердечных ран, а? – проворчал Отто Иоганнович, стряхивая крошки с бороды. – Да ведь мама права, Франц. И почему бы тебе чаю не выпить? От нервов-с.

– Выпью чаю, – без всякого выражения отозвался Франц, взялся за ручку подстаканника и отхлебнул. – Простывший уже и невкусный.

Он залпом проглотил едва теплую жидкость, поперхнулся, закашлялся и зарыдал без слез. Но быстро взял себя в руки и сказал немного перепуганным его истерикой родителям:

– Это все. Папа, не дашь ли папиросу?

Поезд приближался к польской границе.

* * *

Была вода текуща вдоль горы Киевской. А над водою кручи.

Они стояли, обнявшись, над хмурым морщинистым Днепром, и Франц призывал в свидетели своей любви бурные, летящие по ветру листья, черные мертвеющие предзимние деревья, выбеленную злым летним солнцем и осенними ранними заморозками ломкую траву, птиц с безумными глазами, единых в своем стремлении лететь прочь от наступающих холодов.

Все было не по правилам в их осенней любви. Вместо запаха летних трав, цветов и меда – запах прели и потоптанных гниющих яблок, запах мокрого сукна студенческой шинели, запах отсыревшей штукатурки и печной угар. Вместо прогулок под звездами по нагретой за день брусчатке Крещатика – вечно мокрый подол и хлюпанье в ботинках, а звезд за тучами и не видно. Вместо несколько нескромных объятий жениха где-нибудь в беседке, непременно увитой диким виноградом, или розами, или глицинией, – смятые неновые простыни, тяжелое отсыревшее одеяло, сброшенные на пол подушки и вечный страх, что застанет папа.

Да и сам Франц! Разве он герой ее романа? Ей всегда нравились те, с портретов столетней давности, в распахнутых рубашках с плоеными жабо, чернокудрые, темноглазые, на фоне золотого закатного неба. Или томные блондины с глазами голубыми, словно веджвудский фарфор, в шальварах, шлафроках и фесках, с курящимися кальянами, попирающие турецкой туфлей с загнутым, как у лодки, носом расшитые атласные подушки. Или строго-высокомерные, в мундирах с твердыми воротниками, поднятыми до самых губ, а на воротниках – рельефно вышитая золотая пальмовая ветвь; у них золотые эполеты на крепких плечах, орденские перья, тугие лосины и лаковые ботфорты с высоким наколенником.

А Франц? Ничего общего с романтическим героем. Короткостриженный, светло-рыжеватый, словно искорка на излете, глаза – не карие и не серые, а тоже какие-то рыжеватые, маленькие и быстрые, как воробушки, во взъерошенных ресницах. А руки, с рыжим пушком, совсем не музыкальные, грубоватой формы, с наивными детскими ногтями. Но он был силь-

ный, Франц. Он легко поднимал ее на руки и нес. Куда-нибудь недалеко. Переносил через лужу или из кресла на кровать. Сажал на колени и зарывался лицом в ее тонкие лунно-русые волосы и называл Лорелеей. «Какая же я Лорелея, Франик? – смеялась Маша. – Не фантазируй так неумеренно. Я – Мария, твоя Мария, и знать не хочу никаких Лорелей. И Маргарит тоже. А также мускулистых и воинственных фройляйн германского героического эпоса, валькирий и прочих». «Тогда ты будешь феей. Феей Драже, или Розабельверде, или Алиной, или...» – упорствовал в своих фантазиях Франц. «Тогда я тоже тебя как-нибудь назову, – сопротивлялась Маша, – старым архивариусом Линдгорстом, Саламандром, или Левенгуком – укротителем блох, или – кто там еще у Гофмана, совершенно очаровательный, с презабавным именем? – Перегринусом Тисом. Что выбираешь?» «Левенгук был бы в своем роде привлекателен, – забавлялся Франц, – если бы не его лысина и несуразный парик. Что касается архивариуса Линдгорста, то он и есть Саламандр, как ты сама знаешь. Я бы выбрал Саламандра, но боюсь, что слишком невежествен и по-человечески слаб по сравнению с князем духов, великим магом, повелителем огня. Боюсь, что я не более чем бедный влюбленный студент Ансельм». – «Но я не называла Ансельма! Я терпеть не могу благообразного, чистенького и самодовольного Ансельма! Я терпеть не могу тех, кто готов корпеть и унижаться полжизни ради того, чтобы в конце концов получить в безраздельное пользование золотой горшок! Горшок! К тому же заработал он такую привилегию, если помнишь, не самостоятельно, а с помощью влюбленной в него наивной Серпентины! Твой Ансельм – бездарен и скучен! Вот тебе!» «Как же мне быть, Маша? – с притворной грустью вопрошал Франц. – Может быть, мне пойти по дурной дорожке и стать кровожадным драконом, как брат Саламандра? Или стать Крошкой Цахесом и присваивать чужие доблести и достижения? Это, говорят, очень выгодно». «Ты на это не способен, милый Франц, для этого нужно обладать особым подлым талантом, а у тебя такого таланта нет как нет, – мотала головой Мария, увлекшаяся игрой, – поэтому я нарекаю тебя Саламандром, и попробуй только не стать Великим магом, Повелителем огня!» «Я попробую *стать*, я обещаю, – серьезно сказал Франц. – Я поклянусь тебе на огне. Где свечка?» «Клясться грех, Саламандр, – шептала Маша, распахивая глаза цвета гречишного меда, – но мы и так грешны...» И Франц искал свое отражение в ее глазах.

Если бы он смог, он исполнил бы клятву. Исполнил бы. Но Саламандра больше нет.

Маша узнала об этом через день – после того как ее выпустили из заточения. Зареванная Любонька выпустила и умчалась на кухню, метя паркет подолом длинноватой, не по росту, юбки. Отец был кроток и мил и чувствовал себя бесконечно виноватым. Он обнял Марию и зашептал на ухо:

– Машенька, Машенька. Их больше нет никого. Поезда столкнулись, пошли под откос. Никто не выжил. Говорят, это дело бандитов. Две какие-то банды объединились и... орудуют на железной дороге. Машенька, крепись, моя девочка. Я с тобой. С тобой. И прости, прости меня, если можешь.

* * *

Когда нагрянул тать Симон Петлюра по прозвищу Кровавый Бухгалтер, претендующий на роль ни больше ни меньше, как главы Украинской директории, Мария с отцом по строгому распоряжению Любоньки безвылазно сидели дома, потому что на русском языке разговаривать теперь запрещалось, а украинским они не владели за ненадобностью, украинский в Киеве до сих пор никогда никому и не требовался. А тут вдруг нате вам! Расстрел с предварительными издевательствами, коли забудешься и ляпнешь что-нибудь по-русски в присутствии «жовто-блакитных». Что касается Любоньки, то она хоть и не в совершенстве – далеко не в совершенстве! – но все же владела «ридной мовой» по той причине, что фамилия у нее была Моска-

ленко. Украинская вполне фамилия, хотя по нынешним – «незалежным» – временам все же несколько сомнительная.

Любонька тоже опасалась выходить на улицу, но надо было как-то питаться и выживать, поэтому она брала особую корзинку с двойной крышкой, используемую когда-то еще при маме для пикников на Днепре, накидывала шубейку и платок, приоткрывала входную дверь и для начала высовывала в щелку нос, который в последние недели у нее заметно удлинился. Если Любонькин нос не чувствовал ничего такого страшного или хотя бы подозрительного, то она быстрыми, мелкими шажками перебежала Фундуклеевскую, забирала немного левее и, украдкой оглянувшись, как шпион, ныряла в почти пустую бакалейную лавочку бывшего Калиострова, а теперь – с недавних пор – Калиостренко. И как его только не арестовали за фальсификацию фамилии? Удивительно! Не иначе как оценили подчеркнутую лояльность.

Лавочка, конечно, стояла пустая, но Любонька-то свой человек! Поэтому она, осторожно озираясь, ждала условного знака, то есть ждала, когда двумя глазами подмигнет Сеня-приказчик, ее отставной нежный друг, с которым теперь из меркантильных соображений пришлось возобновить амурные отношения. После условного подмигивания нешироко распахивалась дверка за прилавком, и Любонька проникала в служебное помещение, на склад, где наблюдался некоторый ассортимент. Во всяком случае, хлеб и картошку, буроватую капусту, лук, серую муку, мелкий, как порошок, чай, сушеную вишню и груши и даже колотый желтоватый сахар здесь всегда можно было купить или выменять. Изредка с неведомых хуторов привозили даже старое желтое, с бурыми прожилками сало. Любонька перетапливала его в глубокой сковородке и подавала вместо сливочного масла, не удосужившись выбрать оттуда шкварки. Все, что было мягкого в доме – портьеры, кресла, одежда, ковры, – пропахло этими самыми шкварками. Время от времени Любонькин шер ами приносил Колобовым вязанку дров, а в уплату брал что понравится: бронзовые каминные часы с эмалевым циферблатом и хрустальными гранями над каждой цифрой, нежнейшие мейсенские фарфоровые статуэтки, покрывало тяжелого китайского шелка, столовое серебро с дедушкиным гербом.

В общем, жизнь временно наладилась, только Маша после известия о гибели Франца – молчала. Молчала и молчала. В глазах – пустота, даже не пустота, а занавес какой-то из грубоотканой небеленой холстины; лунные волосы поблекли, длинные пальцы закатаны в плотный кулачок, такой плотный, что косточки вот-вот прорвут бескровные ткани. А когда Любонька принесла из лавки Калиостренко новость о скором пришествии красных, которые якобы уже совсем, совсем близко, Маша посмотрела на Всеволода Ивановича и сказала вдруг хриплым, словно плохо оттаявшим голосом:

– Папа, мне страшно.

Вскоре красные казаки под предводительством славного комдива Щорса изгнали жестокого разбойника Симона Петлюру из Киева. Всеволод Иванович, так долго и с нетерпением ожидавший большевиков, почему-то совсем не обрадовался и не стал торопиться поступать на службу новой власти. Он с недавних пор навсегда утратил свое столь привычное для Марии и Любоньки домашнее легкомыслие.

Глава 2

Скажи мне, ты, своевольница, где же, собственно, укрылось твое благозвучие, в каком уголке твоего нутра прячется чистая гамма? Или, быть может, ты хочешь восстать против своего хозяина, дерзко уверяя, будто уши его заколочены наглухо увесистыми кувалдами хорошо темперированного клавира и что энгармонизм его всего лишь ребячья забава? Мне почему-то кажется, что ты измываешься надо мной.

Новая власть называлась очень коротко – Чека. Просто чека. Звук взводимого курка нагана, не слишком даже и громкий. Хотя, кажется, на самом-то деле власть называлась как-то по-другому, но о другой власти никто толком ничего не знал, никто понятия не имел, что это за власть, и никто не понимал, чем она занята. А вот о Чека и о так называемых чекистах узнали очень быстро и судили о них по делам их. Исчадия киевской чрезвычайки были вездесущи в своих поисках затаившихся врагов, они карающим мечом революции (а по слухам – мясницким топором над ремонтной ямой в некоем гараже) рубили головы гидре буржуазии. И поздно было что-либо предпринимать. Некуда было спрятаться и некуда бежать. Все по мере возможности сидели по домам и ждали, когда к ним «придут». А для чего придут – «забрать» или дело ограничится обыском и «изъятием» ценностей – это был вопрос! Молитесь, господа, молитесь и уповайте на Божью помощь. Может, с Божьей помощью, все и обойдется – грабежом. Экспроприацией, точнее говоря. Сбором на нужды победительной революции.

Так вот о власти. Что это за власть, знала, оказывается, одна только Любонька, и после многозначительного недельного пыхтения, намеков и таинственных умолчаний в ответ на прямой вопрос, чего это она там пыхтит и бормочет себе под нос и действует хозяевам на нервы, Любонька наконец страшным шепотом сообщила Колобовым, что это навьи нагрянули, никто иной.

– Да, навьи! И нечего. Нечего вам, Севлод Иванович, у., ухмыляться! – обнаглела в запале Любонька. – Потому что еще перед войною Феклуша-юродивая голой (ну., безо всего совсем) шлялась на Подоле и все рассказывала про навьев! Дескать, скоро придут! А узнать их так: они не едят, а потому будет голод. Вот вам и голод. Скажете, нет? Они не едят, но пьют, воду пьют и кровь. Кровь, потому что хотят ожить, они ведь мертвые, убиенные. То есть свой срок на земле не прожили. Крови напьются, оживут и проживут, сколь положено, будут похоронены, и тогда.

– Околесицу несешь, Любовь, – утомленно отмахнулся Всеволод Иванович, поплотнее завернувшись в пальто и дыша открытым ртом в воротник, чтобы согреть нос и щеки, – было не топлено.

– Околесицу?! А вот и не околесицу! Им и тепло не нужно, мертвым-то! Вот и сидим без дров, потому что Сеньке их больше брать стало неоткуда, когда эти, не к ночи будь помянуты, нагрянули. И свет им не нужен.

– Это ты брось, Люба, не болтай! Свет им нужен. Сама знаешь: они с факелами по ночам носятся. И вино пьют, и луком закусывают. От них дух за версту. Сам же Сенька твой рассказывал, не помнишь?

– А, – растерялась Любонька, но тут же и нашлась: – А вином и луком, это чтобы тленом не несло! А факелы – так похоронные. На катафалке тоже факелы.

– Тьфу ты, господи! Болтаешь зря! – рассердился Всеволод Иванович и услал Любоньку на кухню согреть кипятку.

– А вот увидите, а вот увидите, – громко ворчала на кухне разобиженная Любонька, – как придут, как потянут, так увидите. Ой-ой-ой! Феклуша-юродивая ничего зря не говорила. Они и превращать могут. Ка-а-ак посмотрят, так и.

– Не каркай, ворона! – гаркнул Всеволод Иванович адвокатской глоткой так, чтобы на кухне было слышно как следует. – Типун тебе!..

Но Любонька накаркала-таки.

* * *

Уже следующим вечером, не слишком поздно, а лишь только-только тьма просочилась на Фундуклеевскую, под окнами замелькало, громко затрещало чадное факельное пламя. *Он* возвестил о своем приходе громовыми ударами в дверь. Ясно, что не открыть было нельзя, только хуже сделаешь. Но Любонька присела на кухне за сундуком, закрыла руками голову и тихонько попискивала, выводила свое любимое «ой-ой-ой», поэтому открывать пришлось Всеволоду Ивановичу. Мария встала позади отца и смотрела ему через плечо.

Всеволод Иванович потянул носом и не ощутил ни духа тлена, ни духа перегара, а только едкий – факельный. *Он* – явившийся – молчал, не переступая порога, и смотрел за спину Всеволода Ивановича, на Машу.

– Э-э. Колобов. Адвокат. Бывший. Сочувствующий, – отрекомендовался Всеволод Иванович. – Рад служить революции. Прошу зайти. – Получилось у него вяло и неубедительно.

Тот все молчал и не двигался. Пламя факелов металось на сквозняке, и при неверном его освещении казалось, что сабельно-узкая черная фигура, стоящая у порога, извивается и подрагивает. Мария оцепенела под немигающим взглядом. Зрачки были огромные, на всю радужку, но не блестящие, а матовые глубокой матовостью сажи.

Тронет взглядом, и запачкаешься, и размажешь, и не отмоешься потом. Что еще? Длинный драконий фас. Что еще? Смоляные адовы дымы нечесаной гривы. Что еще? Загнутые желтые ногти перебирают потемневшую чешую серебряного набора пояса.

Мария смотрела отрешенно, словно бы со стороны, словно бы душа ее отделилась и наблюдает сверху. А иначе как объяснить, что ничего не чувствуешь – ни страха, ни смятения, ни отвращения в предчувствии грядущего надругательства? И все потому, что она сразу – как только черный взгляд остановился на ней, – сразу поняла неизбежность всего последующего и готовилась принести себя в жертву.

– Георгий Изюмский, уполномоченный Чека, – послышался сиплый голос. – Я теперь буду здесь жить.

Он резко опустил подбородок, и смоляной туго скрученный локон винтовой лестницей упал на переносицу. Стрелка верхней губы поднялась к носовой перегородке, углы губ опустились, сверкнули металлические резцы – такая была у него улыбка.

Изюмский повелительно дернул узким плечом, и факельщики подхватили под руки Всеволода Ивановича и увели в наступающую ночь. Отец все оглядывался на Машу, упирался и дергался, но молчал: голос изменил ему.

– Потешный какой, – сказал Изюмский (он сказал – потэщный) и добавил, обращаясь к Маше: – Не понимает, что лишний. Мне места много надо, а он... в другом месте побудет, там потеснее, да. Но ему хватит.

– С ним... ничего не сделают? – выдавила из себя Мария.

– Он тебе что, так дорог, а-а? – равнодушно протянул Изюмский.

– Мой отец, – одними губами ответила Мария.

– Я думал – муж, – пожал плечами Изюмский, – старый. Я думал, зачем он тебе, старый. Лучше буду я.

– Его не убьют? – зажмурившись, спросила Мария и ощутила на своей шее его пачкающий взгляд.

– Убьют ли? От тебя зависит. Ты красивая. Мне нужна красивая подруга и помощница. Как тебя зовут?

– Мария.

– Мария. Ты ведь музицируешь? – неожиданно спросил он. – Вас ведь всех учили музыке.

– Играла... когда-то, – ответила Маша. – Давно. А сейчас пальцы не разогнуть.

– От холода, что ли? – усмехнулся он, обнажив железные зубы. – Завтра будут дрова, Мария, и революционный паек. А теперь покажи мне тут все.

Мария повела его по дому, ступая осторожно и бесшумно, робкой тенью, тоскующим привидением.

– Гостиная. Кабинет. Папина спальня. Столовая – сюда давно никто не заходит. Моя комната. Здесь жила мама. Ванная. Кухня.

На кухне за буфетом тихо пищала Любонька. Изюмский посмотрел на нее и отвернулся, вероятно, сразу поняв, что это за птица.

– Прислуга, – сказал он, скривившись, – пусть будет и пусть не пищит, как мышь.

Любонька больше не пищала, но только с этого дня как раз и превратилась в мышь. Перестала носить яркие кофточки, перестала надевать пышные, как пион, нижние юбки, перестала попадаться на глаза, перестала петь излюбленные уличные романсы и греметь посудой. Вылезала из кухни только ночью и легонько топотала по дому на цыпочках короткими мышиными перебежками: прибиралась при свечке, обмирая при треске половиц и шуршании отстающих обоев. И вскоре сбежала навсегда, не выдержав присутствия страшного нового хозяина в доме Колобовых.

* * *

Самое-то ужасное, что Георгия Изюмского Мария увлекла всерьез. Он, похоже, считал себя последним романтиком и создавал собственный театр в духе популярных перед революцией альманахов, где под изысканными псевдонимами публиковали прочувствованные вирши и повести молодые дамы и девицы, воспитанные эпигонами Шиллера и Байрона. Поэтому Изюмский требовал от Марии искренней и безраздельной любви, страстных ласк и вычурнокнижных романтических признаний, в общем, как раз того, чего она совершенно не в состоянии была ему дать.

Когда он требовал красивых слов, она молчала, глядя мимо, и лишь слегка выгибала губы в жалком подобии улыбки. Ночью же Мария лишь изредка, в ответ на требовательное рычание постылого любовника, отваживалась провести пальцами по его высоко выступающему хребту и по иссохшей шелушащейся коже глубоких впадин между ребрами, а потом мучилась тошнотой. Но даже такая, данная с отвращением, ласка вызывала у него пароксизмальные приступы страсти, весьма мучительные для Марии – столь груб и необуздан он становился.

Но такое, к счастью, случалось редко. Деятелен был Изюмский в основном именно по ночам, а рано утром приходил иссиня-бледный, с остановившимся широким взглядом, без всякого выражения на лице и заставлял Марию играть ему что-нибудь величественное и торжественное, Баха или Рахманинова, а иногда, наоборот, нежное и светлое, Шопена или Моцарта. Музыку он, как это ни странно, знал неплохо.

Слушая, он сначала ходил по гостиной из угла в угол, делая в такт равнодушному и небрежному Машиному туше резкие движения, а потом надолго проваливался в сон, как в небытие, сидя в папином любимом кресле, иногда невнятно бредил. Проснувшись, пил много воды и под вечер снова уходил, предварительно оглядывая обнажившуюся по его требованию Марию. Он как будто вдохновлялся прекрасным зрелищем подобно художнику и не совершал попыток сближения. Он словно сохранял энергетический заряд для чего-то другого, более важного для него в этот момент, для чего-то приносящего более острое наслаждение, чем любовный акт.

Сначала эта процедура вызывала у Марии чуть ли не большее отвращение, чем пребывание с Изюмским в одной постели. Мария после его ухода бежала в ванную и обтиралась с ног до головы мокрым полотенцем, дрожа от холода, от страха и от сознания собственной нечистоты. Потом она привыкла и вполне равнодушно раздевалась и стояла отрешенно, как натурщица на подиуме. Потом Марии стало казаться, что она, нисколько не стыдясь собственной, ставшей теперь не вполне совершенной, наготы, может пройтись по Киеву подобно Феклуше-юродивой.

Мария не переставала думать об отце, которого не видела с момента его ареста. Изредка она осмеливалась спрашивать о нем, просила о свидании.

– На что тебе? Ты с ним всю жизнь прожила и каждый день виделась, – отворачивался Изюмский. – Все в порядке с твоим отцом.

– Георгий, но ему же нужна одежда, белье, – умоляла Мария.

– Есть у него все, что ему нужно. И хватит об этом. Лучше скажи, как любишь меня.

– Я люблю тебя, – покорно говорила Мария и не узнавала своего голоса.

– Не так, все не так, – бормотал он. – Ты прекрасна, как скрипка, но я все никак не научусь играть. Ты не даешься, ты сложна и непокорна. Слишком туго натянуты твои струны, поэтому ты режешь душу своим пением. Твой корпус – из драгоценного певучего дерева, но почему нет того резонанса, который мне желателен, а, Мария? Я неумелый музыкант? Так?

– Не знаю.

– Так помоги же мне, помоги мне. Обними меня и заиграй сладкую мелодию любви.

Все это было похоже на бред.

Изюмский иногда по-мародерски обшаривал квартиру, присваивал вещи. Однажды он нашел в одном из ящиков папиного комода большие дедушкины непарные пантофли и надел их, и тогда Мария вдруг поняла, что он не жилец.

Дедушку, умершего в девяносто седьмом году, Мария не застала и знала его лишь по портрету и семейной легенде, связанной с этими вот пантофлями. По легенде, дедушка, очень деятельный и энергичный человек, принимал участие в устройстве в Киеве знаменитой промышленной и сельскохозяйственной выставки. Выставку эту как раз и готовились проводить в девяносто седьмом году. Тогда начали застраивать и Николаевскую улицу – от грандиозного по замыслу отеля «Континенталь» до театра Соловцова. Дедушке, крупному подрядчику, в течение нескольких лет приходилось успевать везде и всюду, вести переговоры с архитекторами, артельщиками и будущими арендаторами, не допускать воровства и поторапливать строителей, чтобы закончили работу в срок. Наверное, такая бурная деятельность и подорвала его здоровье, и сразу после открытия выставки он сильно сдал, стали опухать ноги, и по этой причине дедушка почти перестал покидать квартиру.

Тогда-то в торговых рядах открывшейся выставки мама увидела необычного человека, торговавшего обувью и всякой кожаной мелочью. Человек был худ, сутул и редковолос, с бесцветными глазами прибалтийского ведьмака. На нем был эклектический театральный наряд, напоминающий о временах поздней готики, – короткие штаны, глухая тужурка с буфами и шнуровкой, шляпка-колпачок с петушиным пером. Он громко, с сильным чухонским акцентом, декламировал стихи:

С моим ремеслом я по свету бродил,
Шел к франкам, к баварам на Рейн заходил,
Пять лет непрерывно странствовал там,
По этим и многим другим городам.

– Что за стихи? – поинтересовалась мама.

– Это стихи одного знаменитого нюрнбергца по имени Ганс Сакс. Он был бродячий сапожник и поэт и жил очень, очень давно. Он мой далекий предок по матери, – серьезно и обстоятельно объяснил ремесленник. – Купите что-нибудь, барыня. Я не гонюсь за ценой.

Перед ряженым чухонцем на прилавке были выложены кошельки, кисеты, чехольчики, шкатулки, плетеные пояски, а также дачные сандалии и домашняя обувь. Мама прельстилась пантофлями из зеленой юфти и купила их для бабушки Марии, расшила верх шелковыми нитками модным восточным узором, который назывался «келим», и сделала ему подарок ко дню ангела. Дедушка-именинник надел пантофли, выпил шампанского, а на следующий день не встал и ночью умер во сне.

Поэтому Мария, помня о роковой роли, которую сыграли пантофли, поддавалась мистическому настроению и, находя утешение в нем, стала кротко ждать смерти Изюмского. Она даже похорошела в ожидании.

Только он все не умирал, уже целых полгода прошло, а он все не умирал, а потом чуть не умерла сама Мария. Но сначала состоялось ее знакомство с красным командиром Александром Бальтазаровичем Луниным.

* * *

С приходом весны времена вроде бы стали поспокойнее, шайка Изюмского перестала устраивать факельные шествия в сумерках. Почему? Да просто потому, что весна, а весной, как хотелось думать Марии, половодьем и первыми ливнями смывает всю зимнюю нечисть.

Еще в апреле Изюмский начал выводить Марию «в свет», знакомить кое с кем из сослуживцев, приводил иногда в то самое страшное здание, где, как надеялась Мария, в одной из клетушек, жив и, может быть, даже здоров, заперт заложником ее отец.

Обычно Изюмский приводил ее в каморку письмоводителя, а сам отлучался по делу. В письмоводителе Мария узнала известного в городе аптекаря Наума Гинцмана. В аптеке Гинцмана не раз покупались детские микстуры от кашля, лавровишневые капли для кухарки, нюхательные соли от мигрени для мамы, растирание для папиного радикулита. Мария даже и не удивилась, что аптекарь служит теперь письмоводителем, потому что этой встрече предшествовали еще более странные и даже жутковатые.

Как-то раз в коридоре Чека им навстречу попались двое, которые вели третьего, похоже, душевнобольного, в разодранном рубище, который пел колыбельную диким голосом. А однажды, когда Изюмский в очередной раз зачем-то привез ее к месту своей службы, Мария, входя в вестибюль, вдруг непонятным образом оказалась в водовороте низкорослых, желтолицых и черноволосых, с раскосыми агатовыми глазами. Ее затолкали, затискали, вывернули руки, перехватили за шею, лишив дыхания. Высокий гортанный голос, неправильно строя фразу, спрашивал о чем-то, а о чем, Мария уже не понимала, потому что прощалась с жизнью, так как сознание покидало ее. Потом хватка ослабла, послышался неприятный хоровой смех, и Мария кулем опустилась на холодный каменный пол.

– Ли Сюлян, – позвал Изюмский, – это не белогвардейская шпионка, это моя жена. Отпустил бы ты ее.

– Не пойму, красивая или нет, – сказал главный желтолицый, взяв Машу за подбородок двумя пальцами.

– Разве я бы выбрал некрасивую?

– У вас не разберешь. У вас все на одно лицо и неумелы на ложе, – равнодушно ответил желтолицый по имени Ли Сюлян и скомандовал что-то своей чересчур прыткой свите.

Оказывается, на службе у киевских чекистов состояли китайцы. Они назывались «Особый отряд Киевской ЧК». Лучше и не думать было, чем таким «особым» занимается этот отряд.

– Китайцы, – прошелестел Изюмский, – демоны. Они не поняли, что ты со мной, а потому стали опасны. Они многое умеют, но скрывают свое умение, не делятся им, и нас это настораживает. Когда мы перестанем в них нуждаться, то. Пойдем-ка к Науму, Мария, переведешь дух. Испугалась, да-а?

Старый Гинцман, поохав, налил Марии кипятку и вышел вслед за кивнувшим ему Изюмским. Они стояли за дверью и разговаривали, а Мария все слышала.

– Мне нужно еще, Наум, – хрипел Изюмский, – мне нужно еще. Все равно чего и как можно быстрее. Иначе для меня все кончится плохо. И для нее тоже. Ты же не хочешь, чтобы и для нее тоже? Она ведь тебе симпатична, да-а?

– Где я возьму, неразумный Гершке? Где я теперь все это возьму? Ты забрал мою аптеку – там было все, что тебе угодно. Был опий, был морфий, был – о! – был кокаин. Я продавал кокаин, кому хотел. Если люди неразумны, как ты, Гершке, они покупают кокаин, и опий, и морфий, и даже эфир. Мне привозили порошок, и я даже не интересовался знать откуда. Я только продавал и имел профит. Все это знали: и пристав, и черносотенцы. Я им платил процент, и мне ни разу не делали знаменитого киевского погрома. Но аптеку ты забрал, и туда теперь не привозят ни морфий, ни опий, ни – о! – ни кокаин.

– Наум, я не верю, что ты не знаешь, где это взять. Хотя бы эфир.

– Ты позеленеешь от эфира, как сопля. Лучше выпей пирамидону, Гершке, или завари крепкий чай. У тебя ведь есть чай?

– Ты издеваешься, Наум?!

– Или дождись лета и выйди в чистое поле. И собирай там маки и спорынью. Спорынья – сильное средство, если уметь приготовить. Или посей вместе с красными товарищами коноплю на пустыре. И товарищи будут меньше от меня хотеть.

– Надо было тебя сразу убить.

– Убить. Ах! И как бы ты жил все это время?

– Наум, я не могу работать без морфия или еще чего-нибудь.

– Еще бы ты мог работать, Гершке! Ты никогда не мог работать. Ты не мог, как все честные приграничные евреи, как твой отец и мой друг детства Мордка, тянуть бандероль. Ты не мог ловко воровать в банках, как твой брат Изя. О, Изя умел работать! Его уважали варшавские воры, а это была публика! Твоя сестра Бунька давала гоям в номерах «Париж», чтобы у тебя всегда была сладкая кашка.

– Бунька отдавалась не за кашку, а потому что у нее был зуд в одном месте, и она готова была давать всякому и каждому, любому проходимцу с большой мотней. И сдохла от сифилиса. Работать. Отца зарезали его честные, как ты говоришь, конкуренты, Изю замели фараоны в Лодзи, и он помер в тюрьме от злой чахотки. Нужна мне была такая жизнь?

– Ничем не могу помочь, Гершель. Тебе нужно вдохновение? Вдохновляйся по-другому.

– Ты хочешь смерти, Наум?

– Не хочу, Гершель. Завтра будет тебе морфий.

Они, конечно же, поняли по лицу Марии, что она все слышала. Бывший аптекарь, а нынче вовсе не письмоводитель, а штатный поставщик наркотиков, закричал от неудовольствия, а Изюмский просипел, глядя ей в глаза:

– Ты не думай, Мария. Мое главное вдохновение – это ты.

Он потом добавил с угрозой, очень тихо, так, чтобы слышала только она:

– Но мне никак не постичь тебя. Это пытка для меня, и это плохо и опасно для тебя.

Глава 3

*Все, все похитила у тебя безжалостная смерть, и ты теперь даже
и не сознаешь в точности, жил ли ты и впрямь когда-то или же все это
было сном...*

Встреча Марии с Александром Луниным состоялась в «Континентале», вернее, в кафе под названием «ХЛАМ», размещавшемся с недавних пор в цокольном этаже этой знаменитой гостиницы. «ХЛАМ», означавший «Художники, литераторы, артисты, музыканты», служил пристанищем революционной богемы – нынешней «золотой молодежи», а также местом приобщения к новому искусству самой пестрой публики. Привел Марию в популярное кафе не кто иной, как Изюмский. Он обещал ей интересные знакомства, а на самом деле желал по обыкновению похвастаться красивой и утонченной подружкой. Общались здесь запросто, и, как стало известно Марии, подобный же «ХЛАМ» имелся в Москве, а также и в Одессе. Об этом ей поведал новый знакомец имажинист Шершеневич, который, по его же словам, вместе со своим другом Мариенгофом совершал круиз по «ХЛАМам» разных городов.

Изюмский нашептал ей особо не верить «этому» Вадиму, то есть Шершеневичу. Потому что имажинисты суть левые эсеры, хоть и поэты. Может быть, они и ездят сейчас по городам ради чтения стихов, но вообще-то известно, что они прикрывали известного убийцу немецкого посланника Мирбаха Яшку Блюмкина – отпетого левоэсеровского сорванца, преступную шпану, когда свои же эсеры приговорили его к казни и готовили на него покушение.

– Так вот слушай, – сипел Изюмский, – Яшка прятался-прятался, а потом пришел спасаться – куда бы ты думала? – в киевскую Чека. Ха! Только никому он не нужен оказался, и напрасно совершенно имажинисты его опекали – эти двое да еще парочка, Кусиков и Есенин. Говорят, хвостом ходили за ним по Москве, даже баб своих забросили. «Ассоциация вольнодумцев»! Тьфу! А с левыми эсерами нам еще предстоит. Собственно, уже. Ну, ладно.

Мария почти и не слушала ни разговарившегося Изюмского, ни имажинистскую «Песню песней» Шершеневича, не замечала она и благосклонных дворянских поклонов его приятеля Анатолия Мариенгофа. Она вспоминала, как обедать сюда ее и маму водил отец, как здесь все было красиво и по-настоящему элегантно. Море электрического света, белоснежные скатерти, сияние начищенных столовых приборов, певучий звон хрусталя. Лед и пламень. Лед в ведерках для шампанского и пламень пунша. Знающие люди уверяли, что «Континенталь» не уступает в удобстве и роскоши лучшим гостиницам Европы и чуть ли не превосходит московский «Метрополь».

– А квартирует он, – окончательно завелся Изюмский, – ты подумай только, в Первом Доме Советов, в бывшем «Метрополе». И все время ездит из Москвы в Киев, из Киева в Москву. И стихи читает, губошлеп, засранец. И что в нем бабы находят? И что ты не кушаешь, Мария? Это тебе, конечно, не бланманже и не котлеты по-киевски, но.

Папа заказал фирменное блюдо – куриные котлетки в сухарях. Котлетка – свернутое трубочкой нежное мясо – была на косточке, чтобы удобнее держать, а косточка – в бумажной розетке, чтобы брать руками и не запачкаться. Маше, совсем еще ребенку, так понравилась кружевная розетка, что она не стала есть, чтобы не испортить эту красоту, а лишь пила воду с вишневым сиропом.

Машино воображение тогда поразил и увлек зимний сад с фонтанами – воплощенная мечта гимназистки второго класса, для которой чистописание и арифметика были наказанием господним, пусть даже они и преподавались в знаменитой Фундуклеевской женской гимназии. И пусть хоть три Анны Ахматовы заканчивали эту гимназию, все равно, чистописание и арифметика – это сущее мученье и ад крошечный. Маша не хотела уходить из зимнего сада, пред-

ставляя себя маленькой феей волшебной страны Джиннистана, которая может при желании порхать с цветка на цветок, качаться на листьях диковинных растений и разбрызгивать стрекозиными крылышками радужную пыль фонтанов. И никаких тебе домашних заданий, никаких причитаний взрослых по поводу художественно размазанных клякс и из-за «восемь да шесть будет девятнадцать». Ее смогли увести из зимнего сада, лишь пообещав катание в электрическом лифте.

Воспоминания Марии были прерваны громким сипением Изюмского, который, оказывается, кого-то ей рекомендовал. Мария подняла глаза и встретила с серым, как осеннее облако, взглядом длинных прищуренных глаз. Ресницы были темнее, а густой ежик на голове еще темнее. Крупный человек, а Изюмский на его фоне выглядел не более чем ужом, несытой пиявкой и, безусловно, чувствовал это, так как вид имел недовольный. Тем не менее он с холодной гордостью представил Марию:

– Моя жена, Александр Бальтазарович. Мария, этот человек, несмотря на штатский костюмчик, заслуженный красный командир. Он командует полком.

– Лунин, Александр, – кивнул новый знакомый. – Разрешите присесть с вами. Все занято.

Не иначе как серое облако в глазах Александра напомнило Марии о ее неправильной и незабвенной осенней любви, не иначе как Франц посылал Лунина себе на смену. Не для любви, нет, любви больше никогда не будет в ее жизни, но для защиты. «Если бы так. Если бы так, Господи», – молилась Мария.

Лунин смотрел на Марию, и за серым облаком проглядывала нежная июньская бирюза.

* * *

За серым облаком проглядывала не только июньская бирюза, но и позеленевшая медь жалости и досады. Лунин влюбился с первого взгляда, а женщина принадлежала другому, да еще такому, которому по собственной воле ни одна не будет принадлежать. Так он понимал. Потому что все уже знали, что в киевской Чека сотрудники соревновались в изуверстве, изобретая невиданные по жестокости пытки. Арестованные ждали расстрела как избавления, но редко кому выпадала такая благодать.

Былым приятельством с чекистами многие теперь стали тяготиться, и, если бы не Мария, Лунин никогда не сел бы за один стол с Изюмским, по слухам, одним из самых страшных палачей чрезвычайки. Говорили, что его абсолютно не интересовали признания страдальцев, а из пыток он устраивал мистерии, доводя себя до чудовищного, болезненного экстаза. Изюмскому подследственные представлялись прежде всего жертвами, кровавыми жертвами на алтаре революции. Он мнил себя жрецом, надо полагать.

Таким всегда мало, думал Александр Бальтазарович. Их аппетиты со временем только растут, и вскоре его змиева натура потребует новых, еще не испытанных наслаждений. Он замучит эту женщину, может быть, медленно и постепенно, но со все нарастающей жестокостью. Сейчас, судя по тому, как она смотрит, вернее, нет, наоборот, судя по тому, как она не смотрит на него, ей тяжело даже дышать одним с ним воздухом. Пытка духовная будет дополняться физическими страданиями. Впрочем, наверняка все это уже есть. Она ведь не декоративная собачонка, она красивая женщина, а он назвал ее женой. Ох-х!

«Уйми свою фантазию, – уговаривал себя Александр Бальтазарович, – и хватит уже психологических экзерсисов. Может быть, все и не так. Может быть, ей нравится, а я навоображал, нагородил с три короба. Другая бы жизни себя лишила, а она – ничего, по ресторанам ходит. Почему бы это, а?»

Но версия о счастливом сосуществовании Марии и Изюмского никак не приживалась в душе у Александра Бальтазаровича, воспитанного на рыцарских романах Вальтера Скотта, на балладах о рыцарях Круглого стола, на истории о Тристане и Изольде. Он обладал гибким худо-

жественным воображением, а также логикой человека, знакомого с миром формул, и наблюдательностью ученого. По образованию Лунин был горным инженером, а по призванию, как ему казалось, – артистом в широком смысле этого слова.

Александр Бальтазарович вел двойную жизнь. Недаром он появился в «ХЛАМе» не в военном френче, а в мешковатом костюме-тройке и даже при галстукке. Впрочем, галстук был повязан низко, а верхняя пуговка рубашки расстегнута, что считалось довольно смелым жестом для человека военного. Ни от кого в «ХЛАМе», где у него завелись добрые приятели, он не скрывал своей принадлежности к Красной армии. А в командирских кругах все знали о его пристрастии к изящным искусствам, о том, что он возит с собою ящик с масляными красками в закрученных свинцовых тубах и правдами и неправдами старается пополнять их запас.

Лунин, в свою бытность студентом Санкт-Петербургского горного института, посещал рисовальные классы Академии художеств, благо что от широкой лестницы Горного до храма изобразительного искусства рукой подать по набережной. Он, правда, не стал хоть сколько-нибудь известным художником, он даже рисовать толком не выучился, но страдал, если в течение долгого времени не представлялось возможности вооружиться кистью, а не револьвером, как теперь. И за счастье почитал он в последнее время, если кроме сажи и цинковых белил невысохшими оставались умбра или желтая охра и хотя бы капелька берлинской лазури или кобальта. Он жидко, в целях экономии, разводил оставшиеся краски мутным скипидаром и наносил их на то, что было под рукой (о настоящем холсте, натянутом на подрамник, мечтать давно уже не приходилось): на кусок жести, чемоданную фанеру, старую клеенку, гладкую деревяшку, обойную бумагу.

Этот сор преображался под его рукой. На фанере вскипали кавалерийские атаки: голубые и черные, сильные, как цунами, толстоногие кони с разлохмаченными гривами несли под беспокойным серокоричневым небом охристых всадников со смазанными лицами. На деревянных дощечках он писал портреты товарищей по оружию и дарил их благодарным натурщикам, довольным своими твердокаменными подбородками, пышными усами, стальными глазами и большими звездами на островерхих суконных шлемах. На клеенках получались только цветы и фрукты – плоские, словно из гербария, бурые хризантемы и подгнившие на вид яблоки, обведенные неровным черным контуром. На маленьких кусочках выпрямленной молотком жести рождались пейзажные миниатюры, но пейзажи были неведомых миров, похожих на высохшее дно морское.

Возить с собою все эти произведения не было никакой возможности, и Александр Бальтазарович оставлял их там, где квартировал, или прямо посреди поля, где стояла палатка. Он понимал, что картины его недолговечны, так как живописная техника была неправильной и просто даже варварской. Однако один из его небрежных бивуачных натюрмортов, неяркий и с частично вывернутой наизнанку перспективой, попал к художнику Осьмеркину из «Бубнового валета», и тот окантовал его и повесил на почетном месте в своей мастерской и рассказывал приятелям о неизвестном авторе, которого хорошо бы найти и принять в их авангардное братство. Натюрморт – ветка полыни и чертополох в смятом ведре – вскоре, к несчастью, потемнел, пересох и осыпался свернувшимися чешуйками, клеенка, на которой он был написан, потрескалась и разлезлась. А художник так и остался неизвестным авангардному братству.

Александр Бальтазарович и стихи сочинял. Такие стихи, конечно, не стоило публиковать, дабы не позориться, но их вполне можно было читать майской ночью барышням под высоким кустом пахнувшей кондитерской персидской сирени, когда в небесах висит густая сливочная луна. Барышни после чтения подобных стихов становятся податливыми и обычно позволяют себя поцеловать. А далее. А далее – молчанье, как пелось в игривых куплетах старинных водевилей. А далее – как повезет.

* * *

Лунин, революцией мобилизованный и призванный, как и многие молодые люди его поколения, в отличие от многих оказался хорошим организатором и смелым воином. Поэтому к своим тридцати годам он готовился стать командиром дивизии. После взятия Киева полк Лунина остался в городе. Александр Бальтазарович ожидал повышения, и пока неясно было, что последует за этим повышением: останется ли он в Киеве, отправят ли его к беспокойной польской границе или против Врангеля в Крым, к Перекопу. Перекоп уже штурмовали, но его не удалось взять с налету.

По сравнению с походными неурядицами, тяжелыми боями, потерями служба в Киеве казалась отдыхом: была не в пример спокойнее и сытнее. Появилось немного свободного времени. Лунин, в течение долгих месяцев мечтавший о досуге, чтобы посвятить его занятиям живописью, даже и не вспомнил о своей мечте. В свободные часы он бродил, напрасно надеясь на встречу с Марией, и ругал себя, понимая, что уподобился романтическому подростку. Но ничего не мог с собою поделать. В «ХЛАМе» Мария больше ни разу не появлялась, где она живет, он не знал.

Собственно, встретить-то ее оказалось легче легкого. Нужно только зайти в ЧК, где приходилось бывать по долгу службы, и заглянуть под лестницу, в каморку письмоводителя. Там чаще всего и сидела теперь Мария и копировала какие-то бумаги за одним столом с бывшим аптекарем Гинцманом, который тут же деликатно испарялся, как только Лунин заглядывал в дверь, – дуэнья из старого Наума получилась никакая.

Александр Бальтазарович, из побуждений деликатности опасаясь расспрашивать Марию о чем-либо, рассказывал ей о себе. О том, что на самом-то деле он человек глубоко штатский, но любит перемену мест и не очень любит толпы человеческие. Поэтому его и потянуло к занятиям геологией. Он рассказывал ей, как после окончания института служил в Геологическом комитете в Петербурге и два года руководил съемочными работами за Уралом.

– Съемки, Мария, – это болота и бурелом, это пешком, а если повезет, то на лошадях, два десятка верст в день. Это заплечные мешки или выючные ящики с образцами – каменным материалом, который нужно описать на месте, доставить в Петербург, разобрать там, подвергнуть анализу и определить, какие минералы складывают кусок породы. Вам не приходилось ли в гимназии смотреть в микроскоп на шлиф – тончайший срез камня? Тогда вы не представляете, насколько он прекрасен. Куда там стеклышкам в калейдоскопе! Пусть даже камушек серый, но сколько в нем оттенков! Художник во мне всегда наслаждался этим зрелищем.

– Вы и вправду художник, Александр? – интересовалась Мария.

– Я плохой художник, неумелый. Но все же повсюду таскаю с собой этюдный ящик и пишу при случае. Кто испытал сие (я имею в виду работу с красками), тот пропал. Талантлив ты, нет ли, художество затягивает. Так же как сочинительство, рифмоплетство.

– Вы хотите сказать, что сочиняете?

– Бывает, – покраснел честный Лунин. – Но сочиняю я еще хуже, чем рисую. Просто стыдно, что проговорился.

– Прочтите, Александр Бальтазарович, – умоляла Мария.

– Маша, вы смеяться станете.

– Да не стану я смеяться, клянусь чем угодно. Я за счастье почту... – уверяла Мария и добавляла тихонько: – При моей-то жизни. Ну, пожалуйста.

И Лунин решался. И срывающимся голосом, отворачиваясь и морщась от редко посещавшего его в присутствии барышень и дам смущения, декламировал вирши:

Все вокруг так пестро и шумно,

Но напрасно толпа весела,
Без тебя я тоскую безумно,
Ты улыбку мою унесла.
Только изредка темной порою
Тяжко скучного дня
Нежный облик встает предо мною,
И ему улыбаюсь я.

Маша со всей возможной искренностью хвалила непритязательное творение, воистину образчик рифмоплетства, и просила читать еще.

– Ну хорошо, – соглашался Александр Бальтазарович, лихой комполка, и читал, словно бы в атаку бросался, сочиненное не далее как вчера под впечатлением последнего свидания с Марией:

Ночь еще и мрак глубок;
Но во мраке жуткого смятенья
Видишь ты и веришь – недалек
Долгожданный праздник пробужденья.
И не будет больше литься кровь.
Сгинет мрак житейского ненастья:
Воцарится на земле любовь —
Светлый праздник радости и счастья.

– Это красиво, – хвалила Мария и складывала ладони на груди в подтверждение своего полного восторга, – оч-чень, очень красиво и тонко, Александр. Вы по-настоящему талантливы.

И совсем неважно было для Марии, хороши или плохи его стихотворения. Лунин стал для нее светом в окошке, встречи с ним – единственной радостью в ее сумрачном существовании. И она рада была хвалить его за что угодно, заслуженно или нет, чего никогда не позволяла себе с Францем. С Францем она порою обходилась незаслуженно жестоко, раня его своей прямолинейностью.

Но Лунин был непрост и прекрасно знал цену своим поэтическим опытам. Поэтому он просил Марию не хвалить его.

– Ни к чему это, Маша, – тихо говорил он. – Будьте лучше искренни. Вам так идет.

Мария опускала голову и отвечала:

– А если мне хочется хвалить вас, Александр? Мне ведь так давно ничего не хотелось. Позвольте же. Поверьте, в этом я искренна с вами, а больше мне ничего и нельзя.

Но такие долгие беседы были редкостью, непозволительной роскошью. И об этом однажды Лунину и напомнили. Как-то раз в длинном коридоре без окон Александра Бальтазаровича поймал за рукав Наум и, щуря мудрые и грустные, как у старого шимпанзе, глаза, зашептал на ухо:

– Я вам попустительствую, да! Но лишь из симпатии к бедной девочке. Она покупала у меня декокт и гематоген. Разве у нее жизнь? Нет! Разве ей можно писать эти бумажки? Это же протоколы допросов! Гершель приводит ее сюда, чтобы я присматривал за ней. Он ненормальный, но он что-то чувствует своими ноздрями. Он чувствует вас, Лунин!

– Она пойдет со мной, Гинцман? Как вы думаете?

– Что думать Гинцману? Гершке взял ее отца. Она с ним ради отца. Но, вы знаете, Лунин, она все ждет чего-то. Но вы лучше не ходите сюда, не делайте хуже ни девочке, ни старому Науму.

И Александр Бальтазарович, пересиливая себя, старался больше не появляться в каморке под лестницей, хотя и чувствовал, что этим причиняет Марии боль. Ему стало легче от того, что он узнал, по какой причине его возлюбленная вынуждена терпеть рядом с собой это чудовище, но и неизмеримо тяжелее от того, что он пока не видел пути ее спасения. Поэтому он и бродил по улицам, надеясь на чудо случайной встречи, чтобы хотя бы взглядом ободрить ее и поддержать.

Но однажды поздним летним вечером он, как пишут в романах, движимый неясным предчувствием, побрел в сторону здания, где помещалась ЧК.

* * *

Как же Мария оказалась в каморке под лестницей? Дело в том, что в один прекрасный день тайные запасы морфия у Наума Гинцмана иссякли, и он понял, что близок день его казни. Потому что не может быть никаких сомнений в том, что Изюмский не оставит в живых свидетеля своей слабости, а также – в одном лице – и свидетеля его непутевого детства и юности в Богом забытом городишке Зудовске, располагавшемся в черте оседлости. Однако казнь откладывалась в связи с тем, что Изюмский решил определить на место письмоводителя Марию, чтобы она всегда была под рукой. Он легко получил разрешение на это у начальства, которому, понятное дело, приятнее было лицеизреть в каморке под лестницей красивую молодую женщину, чем старого ворчливого еврея. Так Мария поступила ученицей к Гинцману.

Учиться-то, честно говоря, было особо и нечему, и старый Гинцман уже давно был бы похоронен и забыт, если бы Гершель Израэльсон, а ныне Георгий Изюмский в минуту просветления вдруг не осознал, что помимо него в проклятой конторе в поте лица трудится немало молодых, сильных и привлекательных мужчин. Поэтому Наума и решено было до поры до времени пощадить, с тем условием, что он будет присматривать за Марией и не допускать ее контактов, кроме самых что ни на есть официальных, с молодыми, сильными и привлекательными.

По причине того, что наркотики Изюмский теперь получал нерегулярно, психика его совершенно распаталась, а физическое здоровье давно уже оставляло желать лучшего. Нередко и по любому поводу он впадал в истерику, визжал и брызгал слюной, не мог унять мелкого тремора конечностей и подбородка, грозился убить Наума и задушить Марию, которая, по его мнению, насмехалась над ним. Но она не насмехалась, а безразличный вид, расцениваемый Изюмским как насмешка, объяснялся ужасом перед ним, холодным и цепким, словно колючая проволока.

Если бы она знала, какие эмоции должна изобразить, чтобы унять его, она бы попыталась. Но все дело в том, что реакции его стали абсолютно непредсказуемы, и, если бы даже она и попробовала, пересиливая себя, изобразить нежные чувства, заботу и ласку, все могло закончиться крахом. И для нее, и, как она полагала, для отца, и для ставшего хорошим другом и мудрым советчиком Наума. Поэтому Мария сдерживалась изо всех сил, испытывая нервное перенапряжение, а лицо ее при этом превращалось в маску.

Однажды под вечер Изюмский явился в каморку, и вид у него был необычайно благостный. Мария поняла, что ее ждет очередное испытание.

Изюмский, не обращая внимания на полного предчувствий, а потому затаившегося в углу Гинцмана, проговорил кротким голосом:

– Я пришел тебя обрадовать, Мария. Мы с тобою теперь больше не будем расставаться ни днем ни ночью. Тебе бы этого хотелось, да-а?

– Да, Георгий, – одними губами ответила побледневшая Мария.

– Я стал плохо работать в последнее время, Мария, – продолжал он, – меня преследуют неудачи. Я все думал-думал, почему это? И вдруг я понял: мне не хватает твоей музыки. Ты так давно не играла. Да и когда тебе играть? Ты теперь трудящаяся женщина. Но я думаю,

ты будешь счастлива вновь прикоснуться к клавишам. Прямо здесь, в этом здании. Я буду работать, а ты помогать мне своей игрой. Счастливое решение, да-а? Сюда привезли пианино. Может быть, тебе нужны ноты?

Мария отрицательно покачала головой.

– Ой-вэй... – горестно прошептал в своем углу Наум, – ой, девочка.

Изюмский даже не взглянул в его сторону. Он взял Марию за локоть, поднял со стула и повел по коридорам с видом счастливого супруга. Они спустились в подвальный этаж и зашли в тесное, плохо освещенное помещение с голыми кирпичными стенами в темных подтеках. Один угол помещения был наискось занавешен измятой шторой из потускневшей церковной парчи. В другом углу стояла обтянутая замызганным шелком банкетка и ломберный столик. А на столике. На столике хирургические инструменты в треснувшей фарфоровой супнице и мельхиоровое ведро для шампанского с клеймом гостиницы «Континенталь». В ведре – слесарный набор. Напротив, вдоль стены, – пляжный топчан с вбитыми в него крюками на уровне плеч и лодыжек.

У Марии колотилось сердце, в глазах мелькали серебряные звезды, не хватало дыхания, на лоб упала непослушная прядь, ставшая вдруг мокрой и липкой. Подкашивались ноги. Но Изюмский крепко держал ее, не давая упасть. Он откинул парчу, и за нею Мария сквозь звездную пыль в глазах увидела пианино и табурет перед ним. Она услышала слова Изюмского, сказанные с несвойственной ему звенящей нежностью. В холодный пот бросало от этой нежности.

– Твое истинное призвание – музыка, Мария. Я это понимаю. Ты скверный письмоводитель, ты пропускаешь важные слова. Но ты хорошая музыкантша. Ты будешь – великая музыкантша. Ты будешь – мой концертмейстер. У нас будет свой театр. Нет, не театр – храм. Ты будешь играть в храме. Садись и жди. Когда я скажу, начнешь играть. Твое дело играть, Мария.

Он усадил ее на табурет, поднял крышку пианино, плотно задернул занавес и исчез, клацнув то ли замком, то ли своими железными зубами.

Мария заставила себя взглянуть на пианино. Оказалось, что не хватает нескольких клавиш, а те, что были, покрыты сеткой мелких трещинок. Щербатая челюсть, а не инструмент. Какую адскую музыку на нем можно сыграть? Только не музыку – то, что получится, нельзя будет назвать музыкой. Хрипы, стоны. Пригоршни диссонансных звуков. Сразу две октавы растопыренными до последнего предела пальцами обеих рук. И все время, все время – страдающее верхнее «фа». Играй, Мария. Медленно и старательно – сбивчивые ученические гаммы, убийственные в своем многократном повторе. Оглушительно и фальшиво – куплеты из Любонькиного репертуара. Колоти по клавишам – выбей оставшиеся визгливым аккордом из «Петрушки». Вот так, раз за разом – бей, повторяй, штампуй. Пусть на страшной стене отпечатаются куцые синкопы – похоронные розаны на ярмарочном набивном ситце. Теперь – карильон на оскверненных разбитых колоколах. Теперь изо всех сил – ребром ладони, сжатыми кулаками, лбом, чтобы не слышать нечеловеческих ноющих звуков и победного рычания оргазмирующего палача. Теперь – оглохнуть, ослепнуть и поджать ноги, чтобы не залило темно-алым тошнотным пахнущим наплывом из-под гробовой парчи. Теперь – навсегда? – скорбная тишина Страстной пятницы.

* * *

... Сначала почему-то возвратился слух.

– Я таки тебе не доктор, Гершке. Я даже не фельдшер, чтоб ты знал. Я всего лишь бывший аптекарь. Но даже был бы я доктор, я не смогу воскресить эту бедную девочку, если она умрет.

– Она жива, Наум. Она дышит. Приведи ее пока в чувство, и все.

... Потом возвратилось обоняние. Она почувствовала запах пыльной бумаги и переплетного клея и поняла, что лежит на кушетке в каморке под лестницей.

– Как я тебе приведу ее в чувство, если она не хочет приходить в чувство? Ей хорошо там, где нет чувства. Что ты хочешь, Гершке? Чтобы она пришла в чувство, все вспомнила и сошла с ума?

...Потом возвратилась память, и Мария снова потеряла сознание.

Несколько раз Мария стараниями Гинцмана возвращалась из небытия, но ее тянуло назад, в тихую темень и покой. Когда она в очередной раз очнулась, то услышала, как старый Наум вопрошает *Его*:

– Ты ведь давно убил ее отца, Гершель?

– А что я с ним должен был делать? Кормить с ложечки?

– Девочка терпела ради отца. Она не простит тебе.

– Терпела. Простит, не простит... Чушь! Она меня любит, она спит со мной. Зачем ей отец? Что он ей может дать? А-а, пусть думает, что он жив. Так для всех спокойнее. И если ты проговоришься, старый индюк, то я выпотрошу тебя. Веришь?

– Как не верить? Ты выпотрошишь, Гершке.

– Встань у двери и никого не пускай. Скажи, что здесь допрос. Понял, Наум?

Дверь скрипнула, открываясь, и бесшумно закрылась.

...Вернулось осязание. Мария почувствовала *Его* цепкие холодные пальцы на своей груди, потом на бедрах под задравшейся юбкой. *Он* знакомо сипел, дышал открытым ртом, нетерпеливо наваливался, делал больно. Мария терпела, зажмурившись, и выжидала.

...Наконец, вернулось зрение.

В камерке было тесно, все стояло впрытк: шкаф, сейф, стол и два стула, кушетка. Если лежишь на кушетке, можно не поднимаясь дотянуться рукой до чернильницы на столе. Или до револьвера, если он вдруг там оказался, небрежно брошенный в спешке, в расстегнутой кобуре. Мария откинула руку, зацепила рукоятку и осторожно потянула.

Он, рыча и подрагивая, сжал зубами ее плечо. Теперь самое время. Самое время, пока *Он* так напряжен, что ничего не видит вокруг, и еще не изверг своего семени.

Мария стреляла под челюсть. Выстрел прозвучал на удивление тихо. Услышал его только Наум, который мыкался под дверью. Он бочком протиснулся в камерку и сказал:

– Ах. Таки ты доигрался, Гершке. Лучше бы ты, Гершке, пошел в ученики к Яше-портному. У Яши можно было кроить и резать и колоть иголками. Не людей, нет. Материю. И куда я тебя теперь дену, а?

Марии было все равно. Она лежала, залитая кровью врага, и прощалась с жизнью.

Дверь скрипнула и отворилась. В проеме замер Лунин, которого привело в камерку то самое неясное предчувствие. Быстро оценив обстановку, он закрыл за собою дверь и сказал:

– Вот что, Наум. *Его* надо как-то вынести из здания, так, чтобы никто не видел, и бросить на пороге. Пусть думают, что это покушение.

– На пороге! Что ж, Лунин, идите скажите часовому: отвернитесь, часовой, мы вынесем убитого Гершке и бросим его у порога. Потом уже можете поворачиваться, часовой, – ворчал Гинцман, смачивая из графина полотенце и вытирая Марии лицо.

– Тогда.

– Тогда! Что вы можете придумать, Лунин, если смотрите на бедную девочку и вам плакать хочется? Вы ничего не можете придумать.

А Гинцман вам скажет: несите Гершке во двор и положите в автомобиль.

– Во двор?

– А что такого? Вот она дверь, рядом. Она заперта, но что вам стоит взломать замок? А старый Гинцман будет стоять на шухере.

Замок взламывать не пришлось. Лунин легко отомкнул его с помощью тонкого лезвия перочинного ножа. Затем он вынес труп Изюмского в темный двор и уложил в багажный ящик

автомобиля, снова воспользовался ножом в качестве ключа и беспрепятственно вернулся в каморку.

Осталось замыть кровь и выйти из здания так, чтобы никто ничего не заподозрил. Но сначала надо было привести в чувство Марию, чтобы она самостоятельно могла пройти мимо поста при входе.

– Машенька, нужно собраться с силами и идти, – уговаривал Александр Бальтазарович. – Ты убила гадину, честь тебе и хвала. Все самое страшное позади, и все теперь будет хорошо. Я не дам тебя в обиду. Ты мне веришь? Нужно жить, Машенька. Просто жить.

– Он ей говорит: жить, – ворчал старый аптекарь, – а она не хочет жить, она хочет умирать. И ей все равно, – повысил голос Наум, строго глядя на Марию, – и ей все равно, что если она не встанет и не пойдет, то жить больше не придется ни старому Гинцману, ни молодому Лунину.

– Я пойду, – отозвалась Мария.

– Слава Богу, – проворчал Наум, – но сначала пойдет он, и пойдет себе спокойно домой, а не будет ждать нас за углом, как соратник по борьбе. Иначе нас заметят и будут думать: что эти люди имеют общего? Они что-то замышляют?

* * *

На следующий день и еще на следующий Мария нашла в себе силы прийти на службу, а потом, после того как обнаружили труп Изюмского, слегла с нервным расстройством. Труп обнаружили только через день и лишь потому, что шоферу понадобился находящийся в багажнике домкрат. Точного времени и места убийства определить не смогли. Болезнь Марии объяснили шоком и тоской по мужу. Убийц не искали, а списали все на левых эсеров, известных своими террористическими склонностями. Тем более что началась кампания борьбы с ними. В Киеве возобновились аресты.

Лунин получил звание командира дивизии. Он просил Марию стать его женой. Мария, в душе попросившая прощения у Франца, приняла его предложение, и летом двадцатого года они дорогами войны отправились в Крым. Дивизия Александра Бальтазаровича должна была присоединиться к армии Фрунзе и штурмовать Перекоп.

Берлин. 2002 год

Биограф опять-таки страшился чрезвычайной отрывочности сведений, фрагменты которых он должен с величайшим трудом объединить в настоящую историю.

«...А Франц-то и не умер, в чем Вы, я уверен, нисколько и не сомневались, прозорливейшая фрау Шаде. Франц-то не умер, а благополучно добрался вместе с почтенным родителем и родительницей до Германии. Крушение поездов, устроенное, по слухам, некими объединившимися бандами, и вправду имело место. Но произошло оно на другой железной дороге и в другое время. Отсюда мораль: не верить слухам и не терять надежды, пока вы лично не убедитесь в действительности произошедшего.

Пока вы с полным основанием не уверитесь в том, что желанная встреча никогда не состоится по причине пребывания вашего предмета нежных ли, дружеских ли чувств в недоступных пределах, не оставляйте надежды, фрау Шаде, не оставляйте надежды, заклинаю Вас! А то можно и дров наломать. Открою Вам тайну, в которую посвящен: обещания, даваемые нами в порыве чувств, живут себе и живут, пока не исполнятся. А уж как и когда они исполнятся, в каком виде воплотятся, приходится только гадать. В стране, где я прожил большую часть своей жизни, есть поговорка: „Слово не воробей, вылетит – не поймаешь“ То-то и оно, милая фрау, то-то и оно. Потому и сказано в Великой книге: не клянись.

Вот скажите Вы мне, фрау Шаде: кой черт тянул Франца за язык, когда он клялся Мариш в верности, да еще, неразумный он юноша, призывал в свидетели силы природы?! Понятное дело, что и Мария в таких обстоятельствах не могла не ответить тем же. Чем, спрашивается, могло это кончиться? Только жестокими испытаниями, чем же еще? Искушать судьбу – это, знаете ли. Ах, да мне ли читать мораль? Нашелся тоже морализатор! У самого, признаться, рыльце в пушку, и хватит об этом. Так я продолжу.

Не стану утомлять Вашего внимания, дражайшая фрау, описанием не столь уж значительных невзгод, кои пришлось претерпеть семье Михельсонов в своих странствиях. Впрочем, в семейной историографии почти и не сохранилось сведений об упомянутых невзгодах. Известно лишь, что наши эмигранты лишились части вывозимых ценностей, пока добирались до Берлина. Однако того, что осталось, Александре Юрьевне, женищине практического склада, хватило, чтобы открыть маленький модный салон под несколько декадентским названием „Искусственный цветок“.

Она наняла модистку, двух швеек, и, поскольку была женищина со вкусом, ее салон вскоре приобрел репутацию заведения не для всех, и туда стремились попасть по протекции берлинские щеголихи, по большей части жены спекулянтов, до сей поры в ярких своих платьях и не бог весть каких мехах более похожие на клумбы с георгинами, обрамленные декоративным мхом. Тут уж Александра Юрьевна не растерялась и повысила расценки, а также вывесила бесстыдное объявление с просьбою не являться на примерки в вязаных бюстгальтерах, поскольку от таковых мало толку и вообще они некомильфовы. Вскоре благодаря деятельности Александры Юрьевны

с окраины, где семья снимала комнаты в пансионе, удалось перебраться в центр Берлина, в квартал Николаифиртель, и снять помещение в здании, расположенном поблизости от базилики Святого Николая. Вам знакомо это благословенное место, фрау Шаде? Ну, еще бы! Кому же оно не знакомо?»

«Еще бы, еще бы не знакомо, – вступила в мысленный диалог фрау Шаде. Она свернулась в клубочек, сидя в глубоком кресле, что стояло в гостиной ее квартиры, занимавшей половину верхнего этажа современного дома, расположенного в фешенебельном квартале Николаи-фиртель неподалеку от базилики Святого Николая. – Еще бы не знакомо; не только знакомо, но и любимо. Мне повезло, что я здесь живу. Мне повезло с домом».

Квартиру эту за особые заслуги в спорте, другими словами, за весьма успешную дрессуру юных гимнасток, ценой собственного здоровья завоевавших уйму всевозможных наград, предоставили ее драгоценному супругу в самом начале восьмидесятых. Тогда Николаи-фиртель начали приводить в порядок, вернее, восстанавливать его былой уют, или, как принято теперь говорить, – «исторический облик». Квартал, очень плотно застроенный до войны, во время бомбежек и обстрелов сильно пострадал, почти полностью был разрушен. Старых зданий здесь осталось совсем мало, поэтому стали возводить новые в стиле северного барокко. Причем, вероятно по причине небогатой фантазии, зачастую копировали постройки, находящиеся в других кварталах города. Но больше всего понастроили однообразных панельных домов, приземистых, но с высокими крышами. Фасады украсили бетонным декором, нарочито грубым и тяжеловесным. В таком вот доме, в модной ностальгической мансарде и получил квартиру Дитрих Шаде и спустя несколько лет привел сюда жену. И через четыре года погиб, царство ему небесное, подонку. А квартира осталась за молодой вдовой.

Фрау Шаде взглянула на часы. Половина второго – глубокая ночь, и давно положено спать. Ноги затекли, заныл перекрученный позвоночник, онемела шея. А спать-то совсем и не хочется, так читала бы и читала. Хотя почему бы не перебраться из кресла в постель? Тоже очень подходящее место для чтения. И хорошо бы взять с собой бутерброд и бутылочку минеральной воды. Прекрасное решение, так и поступим. Только бы не проговориться потом о таком неправильном времяпрепровождении старушенции фрау Мюнх, мнением которой дорожит весь дом.

Фрау Мюнх обладала способностью очень ловко вызывать на откровенность специально для того, чтобы потом со всей прямотой заявить, строго глядя из-под бровей-ниточек: «Ваш образ жизни, дорогая, достоин осуждения. Вы упали в моих глазах, фрау соседка». Именно так: фрау соседка. А потом она разнесет по всему дому историю о том, почему именно фрау соседка Шаде упала в ее глазах. И герр Фляйшер (галантерейная торговля аж на Курфюрстендам! Но это ложь – всего лишь павильон в торговом центре на окраине), и герр Барнхельм (фон Барнхельм, как сообщал он каждый раз, понижая голос, что, видимо, должно было объяснять наличие у него в квартире огромного количества разномастного антиквариата), и красотка фрау Беата (Беата Штолиц, она же Нойман, она же Майер и еще два-три варианта – в фамилиях ее многочисленных сменяющих друг друга состоятельных мужей все давно запутались и называли ее теперь только по имени) – все они будут укоризненно качать головами и осуждать непутевую соседку.

На постели – вот неожиданная радость! – обнаружился Кот. Старый, добрый Кот – весьма независимое создание. Кот появился когда-то в квартире фрау Шаде самым что ни на есть загадочным образом и теперь приходил и уходил, когда ему вздумается. Вернее, не приходил и уходил, а появлялся и исчезал, несмотря на закрытые двери, закрытые окна и отсутствие достойных такого господина отдушин. На случай его появления на кухне всегда стояли плошки с водой и с сухим кормом, а в туалете – лоток с гранулами. Кот не считал нужным здороваться и прощаться. Свое дружеское расположение он выражал тем, что устраивался в любимых уголках фрау Шаде и дремал там, мерно урча. Когда Кот пребывал в особо сентиментальном настрое-

нии, он тыкался носом в ладонь и громко требовал почесать ему шейку и подбородок. Никаких кличек он не признавал и отзывался только на «Кота».

– Привет, Кот, – сказала фрау Шаде. – Нагулялись ли вы, Ваше блудное Кошачество?

Кот высокомерно уставился зелеными глазищами на свою зарвавшуюся домоправительницу, моргнул и разлегся на боку, раскинув лапы. Он был серо-полосатый, с палевым животиком и грудкой, с лихими разбойничьими усищами и богатыми бакенбардами – воплощенная мечта романтических представительниц кошачьего племени.

– Позволено ли мне будет прилечь здесь, с краешку? – спросила фрау Шаде у растянувшегося во всю длину Кота. – В конце концов, это моя постель, а Вашему Кошачеству самое место на коврик. Тем более что от тебя, мой друг, за версту несет сексуальным разбоем. Репутацию скольких невинных девушек ты погубил, негодник, на этот раз? Не расскажешь ли?

Но герр Кот не стал торопиться с чистосердечным признанием. Он, ни слова не сказав, спрыгнул на пол и отправился в гостиную, неся свой хвост торжественно и чинно, как хоругвь.

Фрау Шаде опустила поднос с минералкой и бутербродами на прикроватный столик, взбила подушку и поставила ее домиком, сбросила халат, оставшись в легкомысленной полудетской пижамке, и залезла под одеяло. Пристроила на коленях черную папку с рукописью, откусила от бутерброда с салатным листом, запила его пузырящейся жидкостью и снова погрузилась в чтение.

«Так вот, о житье-бытье в Германии начала двадцатых годов. В общем и целом оно было несладким, как известно. И прежде всего для коренных немцев. Они растерялись, не успевали приспособиться к наступившей обвальнoй инфляции, целыми семьями, бывало, по собственной воле отправлялись в мир иной. Зато не растерялись закаленные невзгодами иностранцы, и Александра Юрьевна в их числе. Она, как только поняла, что торгoвля материальными ценностями, тем более производимыми самостоятельно, может потерпеть крах, обзавелась через подставное лицо по примеру некоторых несколькими вексельштубе – меняльными будочками, наняла – за еду – продавцов и торговала деньгами, долларами. Это очень выгодная торговля. Как была, так и осталась выгодной. Для женщины, да еще для русской, такой поступок расценивался как предеpзкий и почти что даже как нечестивый. О чем Александре Юрьевне не забывал ежедневно напоминать супруг ее, кормившийся от хлебов ее, так как его жалованье университетского профессора было чисто номинальным.

Франц тем временем окончил университет и работал в одной из лабораторий, изучая физику горения, а в другой лаборатории он изучал механику полета различных тел и писал очень сложную, полную многоэтажных расчетов диссертацию. Иногда по приглашению выпустившей его кафедры молодой Михельсон читал лекции студиязусам и рассчитывал в будущем получить место приват-доцента.

И все было бы хорошо, когда бы не было так тоскливо. И если мать Франца была увлечена собственной полезной деятельностью, а отец, чистокровный немец, чувствовал себя в Берлине вполне в своей тарелке и не без удовольствия переругивался в прессе с издателем кадетской газетенки „Руль“, бывшим членом Государственной думы Набоковым, обвиняя последнего в беспочвенных мечтаниях и называя его эскапады против большевиков наивными до глупости, так вот, если родители Франца были в общем и целом вполне довольны нынешним своим положением, то сам Франц ощущал собственную неприкаянность. Он, безусловно, находил

утешение в увлекательной деятельности ученого, но что касемо чувственной составляющей его жизни... Ах, не забыл он Марию, не забыл!

Нет, нет! Вовсе он не стал анахоретом, он не считал необходимым умерщвлять свою плоть, расставшись с возлюбленной, как он полагал, навсегда. И он был востребован как мужчина. Свеженькие, точно сию минуту вылупившиеся, фройляйн, телефонные барышни, продавщицы и машинисточки, сняв поутру папилютки, сбегались завтракать в кафе, где он заказывал яичницу и совершенно невиданный исключительно крепкий кофе. Фройляйн строили глазки, и Франц время от времени снисходил до одной из них, честно предупреждая, что рассчитывать на него как на спутника жизни он милой Ингрид, Эмме, Лизе или Ирме не позволит. Ингрид, Эмма, Лиза или Ирма слегка грустнели, конечно же. Но обаяние рыженького, быстроглазого и – ах! – такого стройного молодого мужчины было столь велико, что Ингрид, или Эмма, или Лиза, или Ирма в ответ на вполне дружеский поцелуйчик в шейку после освященной традицией воскресной прогулки в Тиргартен, сама не зная почему, быстренько распахивала застиранную блузочку, дабы не мешать дальнейшему продвижению теплых губ все ниже – к ямке над ключицей, к ложбинке между грудок... И никто так уверенно и в то же время поджентльменски не умел задрать юбку и справиться с подвязками, не портя единственных приличных чулок. И никто так ласково не приговаривал на ушко во время соития – так ласково и пылко, что Ирма, или Лиза, или Ингрид, или Эмма не противилась и принимала, по его желанию, самые что ни на есть неизящные позы и самым, что ни на есть непристойным образом стонала, охала и подвывала, словно бы она и не телефонная барышня, не машинисточка или не продавщица, а загулявшая кошка.

Но Франца, насколько мне стало известно из чудом сохранившихся писем и записочек, больше привлекали опытные женщины, годившиеся нашим продавщицам и телефонисткам в старшие кузины. С ними все было проще и достойнее. Никаких вам дурацких прогулок под ручку и никчемных признаний, никаких вам стихов дурного толка и обязательной глухой темноты в спальне. Подобная дама, рекомендовавшаяся, как правило, личной секретаршей господина Гартмана, директора *** акционерного общества, или там господина Нойбауэра, владельца *** торговой фирмы, способна была оценить задаваемый Францем стиль поцелуя и лишь на одном этом выстроить линию сексуального поведения, устраивающую их обоих. В таких случаях Франц не без удовольствия выступал ведомым.

Но все это были радости телесные, кисло-сладкие, как варенье из клюквы, или приторные, как тройная порция сбитых сливок. И душные, словно розовое масло. И не было в них горечи осеннего костра, на котором сжигают опавшие листья. И не было в них пронизывающей ветреной свежести. И ни у одной из берлинских прелестниц волосы не пахли дождем. И с ними ни разу не случилось у Франца маленьких любовных неудач, происходящих по причине его нетерпения или по причине ненасытности распаленной им же юной подруги. А беседовать с этими дамочками о чем? О стихах господина Гейне? О ценах на шелковое бельишко? О том, каков урод, похотливый мерзавец и зануда их патрон? Одним словом, Франц не мог забыть Марию и мучился разлукою. Что за враждебная судьба!

Я же говорю, бесподобная фрау, зачем было клясться-то?..»

Фрау Шаде, не успев толком обидеться на «бесподобную», уснула, уронив манускрипт на пол. Услышав шорох, в спальную заявился Кот, повел усами и аккуратными ушками, подошел к кровати, обнюхал черную папку и улегся на нее, подвернув лапки.

Глава 4

... она – его и не его, ибо вечно жаждущая тоска продолжает существовать, ибо страстное желание вечно и неутолимо! И это она сама, она сама – это великолепное, созданное для жизни предчувствие, она сама – эта мечта, излучающаяся из самой души художника, как его песня – его картина – его поэма!

– Послушайте, Василий! Что вы мне тут, извините за грубое слово, вкручиваете? За два месяца и медведь может ноты выучить. Вы просто ленивы. И для того чтобы хотя бы гамму прилично сыграть, упражняться следует ежедневно и упорно. И петь при этом. Не мычать под нос, а петь. Грудью, диафрагмой. Чтобы звук наполнял окружающее вас пространство, чтобы он ожил, красивый и мощный. Попробуйте-ка, и-и.

Василий сосредоточился, сцепил руки за спиной, надулся так, что стал похож то ли на вертикально поставленный дирижабль, то ли, если принять во внимание его поэтическую шевелюру, на созревший початок кукурузы, и добросовестно попробовал. Мария закрыла уши, зажмурилась и замотала головой:

– Василий! Ох, достаточно. Вам паровой сиреной работать бы! Не пошли бы вы во флот служить, а? И вам хорошо, и мне мучений меньше. Я же вам говорю: грудью, диафрагмой. А вы, словно бык, глоткой ревете.

– Я же стараюсь, Мария Всеволодовна, – шмыгнул носом Василий, курносая личность в заплатанной гимнастерке и с неуставной шевелюрой.

– Я вижу, что стараетесь. Только с таким старанием вас Леонид Сергеевич к себе в институт и на порог не пустит. Чувствовать надо, а не только стараться.

– А кто это – Леонид Сергеевич? – не замедлил поинтересоваться Василий.

– Вы и этого не знаете? Леонид Сергеевич Вивьен. Выдающийся актер. Руководитель Института сценического искусства, того самого, куда так безудержно стремится ваша душа, дорогой Василий, и где вы как пить дать провалите вступительные испытания.

– Он, что ли, строгий, Леонид Сергеевич этот ваш?

– Он не строгий, он милый. Но, видите ли, Василий, он добросовестно и самоотверженно служит искусству. И если вы рассчитываете попасть в группу счастливиц, принимаемых по разнарядке исключительно благодаря подходящему социальному происхождению, то зря. Леонид Сергеевич принимает за талант, если он чувствует в человеке искру Божию.

– У меня, стало быть, таланта нет? – огорчился Василий.

– Васенька, вы способный, – смягчилась Мария, – вас бы без способностей в театр не взяли бы, да и я бы тут с вами не сидела среди ночи с уроками музыки. Но вы безобразно ленивы! Давайте-ка садитесь за пианино, а то я за день так наигралась, что пальцы отекли. И спина ноет невыносимо. В моем положении не рекомендуется все же разъезжать целый день. А мы сегодня на трех площадках успели выступить. Литературно-музыкальный монтаж «Наша Коммуна» в железнодорожном депо, сатирические сценки в Летнем театре, музыкальная драма «Матросы „Авроры“» в бывшей Александринке. Садитесь-ка, Васенька, за гаммы.

Мария встала, распрямила спину и вдруг, тяжело охнув, схватилась руками за спинку стула:

– Василий, мне доктора. побыстрее.

* * *

Эльза Генриховна легко спустила ноги с кровати, накинула на плечи вязаную шаль и отправилась к двери, которую вот-вот, казалось, выломают.

– Ну и?.. – сказала она бодрым контральто, вплотную подойдя к двери. – У нас, слава богу, двадцать третий год на дворе, а никак не восемнадцатый. Что вы колотите среди ночи? Во времени заблудились? Что ж, бывает.

– Эльза Генриховна, это я, это я. Срочно нужна ваша помощь, Эльза Генриховна!

– Ах, это ты, майн либер! – завозилась с щеколдой Эльза Генриховна. – Что стряслось, мон амур?

– Я не Амур, Эльза Генриховна, я Василий!

– Да что ты говоришь? Неужто? – издевалась старая перечница Эльза. – А я-то думала. Я-то надеялась. И по какому же случаю, Васька, ты меня столь бестактно вырвал из объятий Морфея?

– Кого – объятий? – выпучил глаза востропанный и потный Василий.

– Морфея, – любезно объяснила зараза Эльза. – Что тебе приспичило? Этажом выше в сорок восьмой номер было уже не подняться? Там Мисмис – в прошлом Мунька Месерер, из бывших, ей еще и шестидесяти нет – принимает тех, кому приспичило. Всего-то за полмешка картошки. Желает, протекцию составлю?

– Полмешка? Она ее что, всю съедает? – растерялся сбитый с толку Василий.

– Нет, на Кузнечном рынке продает. Так рекомендовать?

– Эльза Генриховна! Тьфу на вас! Шуточки ваши. У вас шуточки, а у меня политрук рождает!

– Ах, они и это уже умеют? И кто же его, прошу пардону за коннозаводческую терминологию, столь успешно покрыл? Васька?..

– Эльза Генриховна!!!

– Да нет, мне просто интересно! Сколько лет роды принимала, но такого казуса. Политрук, твою мать!

– Эльза Генриховна!!!

– Васька, мне по меньшей мере семьсот лет, и я отошла от дел, устала я. И тебе это, паразит, известно. Уволь меня у политруков роды принимать. Стара я для новомодных фокусов. В моем возрасте по ночам спать следует.

Эльза Генриховна помолчала, изобразив глубочайшую задумчивость, а потом томно спросила:

– А через что он, интересно, рождает-то? Хотя понятно: все они через ж... новый мир строят. Новый! Скажите!

– Эльза Генриховна!!! Это она, а не он! – Васька старался не обращать внимания на беспрецедентные по своей разнузданности контрреволюционные высказывания старой повитухи. – Она – политрук! Мария Всеволодовна политрук! Политрук нашего театра, – грудью и диафрагмой мощно и красиво, на весь лестничный пролет, стоя на пороге, вопил Василий.

– Василий! Ты как в красноармейцы записался, так поглупел несказанно, а как в театр этот свой поступил, так стал донельзя косноязычен. Сразу все толком нельзя было объяснить, что ли?

– Эльза Генриховна! Я же и объясняю: рождает. С ней там Серафимка Райская, бывшая комическая старуха, и Арик Буланже, бывший лирический баритон. Что они могут-то? Им – что, а мне перед ее мужем ответ держать.

– Ах, значит, все-таки?.. О-о, ты шалун, Васька! Не ожидала, признаться. Тюлень тюленем, а тут вдруг такой блестящий адюльтер! Мечта, черт!

– Эльза Генриховна!!! Какой дюльтер еще! Хватит вам выражаться. Вы идете?

– Куда это?

– Ох, да на Тамбовскую, в Дом железнодорожника, рядом.

– Зачем это?

– Роды принимать!!!

– У политрука? Он, то есть она, другого места рожать не нашла? Оригинальность, на мой взгляд, должна иметь пределы. По-моему, этому еще в пансионах учат, когда девицы входят в возраст и вдруг начинают нести невесть что по любому поводу – свое оригинальное мнение высказывать. И к чему это приводит, если вовремя не пресечь? Результат налицо – роды на театре.

– У-у-у!!! – завыл Васька. – Эльза Генриховна, хватит измываться-то. Идемте, что ли?

– Хватит так хватит, – натешилась Эльза Генриховна, которая, впрочем, уже успела наvertеть на макушке дулю, бывшую в моде лет тридцать назад, проверить, все ли необходимое есть в акушерском саквояжике, и сунуть туда же большую черепаховую табакерку и фляжку со спиртом.

– Вот, держи, Васька. И иди себе. Надеюсь, спиртом по дороге не соблазнишься? Придешь и велишь комической старухе и этому своему бывшему баритону воду кипятить. Хоть на костре из ваших безвкусных декораций. Хоть какая от них польза. Простыней, понятно, у вас там нет? Вот и иди себе. А я как соберусь, так и приду.

– Эльза Генриховна, не опоздать бы. – переживал Василий.

– Не трясись, майн либер Васька. Когда это я опаздывала? Я даже к твоей почтенной мутер ни разу не опоздала. А она, земля ей пухом, что твоя кошка рожала, в эйн секунд – пффф, и все! Готово дело – очередной маленький Дерюгин.

– Эльза Генриховна, я бы проводил. Ночь, темно, беспокойно.

– А чего мне, милый Васька, бояться? Лиговской шпаны, что ли? На кой я сдалась этим достойным молодым людям? Какое удовольствие они получают, даже если соблазняются моим телом в нынешней его ипостаси? Или им все равно по темному-то времени? Ин-те-рес-но, – оживленно заморгала Эльза Генриховна, вновь взявшись придуриваться, но опомнилась и воскликнула, сверкнув глазами: – Ты еще здесь, глупейший из Дерюгиных?! Брысь к роженице, сказано тебе!

Когда повивальная бабка Эльза Генриховна Розеншен сверкала глазами, не повиноваться ей было себе дороже, и Ваське Дерюгину сие было отлично известно, поэтому он, подхватив саквояж, понесся к Дому культуры железнодорожника, где снимал помещение передвижной театр «Красноармеец». Вася Дерюгин работал там актером в группе малых форм, а Мария Колобова, ныне уже три года как Лунина, – музыкальным руководителем и по совместительству политруком. Так уж было велено расположенным к ней начальством в Управлении театров, даже в партию большевиков пришлось вступить.

* * *

После Крыма Александра Бальтазаровича направили в Петроград, в Военно-строительную академию, на преподавательскую работу. Наверное, кто-то, кому положено время от времени читать анкеты, обратил внимание, что Александр Бальтазарович по образованию инженер-горняк. И поэтому-то, очевидно, его не отправили в «бессрочный отпуск», что фактически означало увольнение из рядов. В бессрочный отпуск стали отправлять многих из тех, чье социальное происхождение вызывало сомнения или классовую неприязнь у новых властей, несмотря на то что в основном увольняемые были грамотными офицерами, людьми заслуженными, проверенными в боях. Так был уволен друг Александра Бальтазаровича Констан-

тин Алсуфьев, Георгиевский кавалер, командовавший в мировую артиллерийским расчетом, а ныне неоднократно награжденный командир полка. Теперь уже бывший.

Костя пришел еще тогда, в Симферополе, попрощаться и сказал:

– Вот что я думаю, Сашка. Их теперь много стало, новоиспеченных, отучившихся на командирских курсах, у которых в анкетах написано «из рабочих» или «из крестьян». У нас ведь Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Вот и нужно, чтобы личный состав соответствовал. А меня вот в бессрочный отпуск отправляют. И это, заметь, когда война еще не кончилась. Что, по-твоему, такой отпуск может означать?

– Ясно что, Костенька. Чистку, – грустно кивал Александр Бальтазарович.

– Вот-вот. И куда нам, таким отпускникам, потом?

– Боюсь предположить, Костя. Судя по тому, что творят здесь в Крыму товарищи Бела Кун да Землячка с Пятаковым, боюсь даже предположить. Тут даже Миша Фрунзе бессилен. Ему знаешь какую телеграмму прислали, когда он после Перекопа вздумал врангелевцев жалеть? Ого, вижу, что знаешь. А теперь он где? Нестора Махно гоняет. Это бывшего-то союзника, грозу деникинских тылов, героя взятия Перекопа. Говорят, в Бессарабию загнал.

– Соображаешь, Сашка, – кивнул Костя Алсуфьев. – А я, знаешь, пожалуй, по следам Нестора отправлюсь. Не хочешь со мной?

– Я все же командир дивизии, Костенька, и меня пока не уволили.

– Я понимаю, Саша.

Костю убили на границе, и было много неприятных разговоров, допрашивали, пытались выявить связи. Подозревали, что Костя был чей-то шпион. Но Лунина вскоре командировали в Петроград, и он был счастлив возвратиться в родной город, да еще вместе с Марией. Любимой и ненаглядной Марией, его радостью, его тоской, его все еще не сбывшейся мечтой и болью.

Как-то Александр Бальтазарович попытался написать портрет Марии. Она, с тихой улыбкой, охотно села у окна, держа в объятиях букет поздних багряных и сине-лиловых астр из разоренного палисадника, а он установил на низенькой стремянке, заменившей мольберт, загроможденный штукатуркой широкий сухой спил старой липы и начал делать подготовительный рисунок угольком, добытым из печки. Общий абрис получился на удивление быстро, композиция в неровном круге удалась, и он, радуясь первому успеху, взялся за кисть. Все продолжалось не менее удачно: сквозь паутинные волосы пробивалось солнце, та часть лица, что была контражур, светилась теплой тенью, та, что на свету, – успокаивала нежной прохладой, пальцы тонули в листьях и лепестках. Он никогда еще не писал таких светлых картин. И Мария вместе с ним легко радовалась удаче.

Следующий день стал днем траура для обоих: на картине от Марии ничего не осталось, кроме контура лица и грубых теней подмалевка и длинной, седой после киевской беды, пряди, а пряди этой мертвой прежде вовсе не было видно при заданном художником освещении. Весь свет поглотила штукатурка. Тихая праздничность, которой удалось достичь при изображении цветов, пропала. Вместо нее осталось мрачное красно-сине-зеленое средневековое колдовство остроконечных лепестков и листьев.

И сразу стало ясно, что исправить ничего нельзя: все равно краски, кроме самых ярких, будут поглощаться ненасытной штукатуркой грунта, а все, что останется, в конце концов пожухнет и потемнеет, потеряет цвет.

– Ну и ладно, – уткнулась Мария в плечо мужа, – ну и ладно, Саша. Мало ли, что не получилось. Я-то, живая, с тобою.

– Да, Машенька, – обнял ее Александр Бальтазарович, – это главное, конечно. Я же неумелый художник, мне бы следовало этого не забывать и не расстраиваться из-за неудачи.

Только все было не так просто. Мария, с теплыми глазами и охотно отвечающим на ласки телом, прихорашивающаяся для него одного перед тусклым зеркалом, по-женски болтающая о пустяках, умно рассуждающая о музыке и поэзии, а иногда изрекающая важные для повсе-

дневности пророчества, Мария для Лунина оставалась неуловимой, словно тень, фантом, призрак. Осторожные щупальца его души тянулись к ней в надежде, но не встречали ответной упругости и огорченно втягивались назад, лишь слегка перепачкавшись в чем-то золотистом – в пылце ее души, оставшейся неведомо где и с кем.

Мария спокойно приняла известие о переезде в Петроград, она вообще очень спокойно и безропотно относилась к любым переменам. Сначала Лунин думал, что такое спокойствие – особая женская стойкость. А потом понял, что никакие бытовые перемены ее не тревожат, потому что была некогда одна великая потеря, порвавшая ту струну, что дрожанием своим способна вызвать резонанс – волнение и тревогу в предчувствии грядущего неустройства, неурядиц и неопределенности.

Она спросила:

– Саша, чем же ты будешь заниматься в этой самой академии?

– Буду учить курсантов геологии, Машенька. Им ведь строить всякие военные объекты, укрепления, фортификации. Им следует знать, на чем они строят, чтобы сооружение не рухнуло и не поплыло или не провалилось в тартарары под собственной тяжестью.

– Я поняла, – лукаво улыбнулась Мария, – ты не велишь им строить замков на песке.

– И на болоте тоже, и над разломами, близкими к дневной поверхности, – весело поддерживал ее Александр Бальтазарович, но погрузнел глазами. «А я-то на чем строю свой замок? Ответь мне, Машенька», – умолял он беззвучно.

Глава 5

Человеку куда более приятно состояние глубочайшего ужаса, чем естественное объяснение того, что показалось ему призрачным; он отнюдь не хочет больше мириться со здешним миром; он требует, чтобы ему показали нечто из другого мира, нечто потустороннее, отнюдь не нуждающееся в осязаемости и телесности, дабы представиться его очам в виде некоего откровения.

Лунину дали квартиру из двух крошечных комнат окнами во двор на Обводном канале, вблизи Лиговского проспекта, беспокойного в темное время суток. Впрочем, и днем это было веселое местечко: от Московского, бывшего Николаевского, вокзала и до самой Расстанной в открытую гуляли жиганы, а также новое поколение воров, называвших себя уркаганами. Грабили, что нужно справляли, спокойно и привычно, без колебаний в случае сопротивления ставили на перо, а потом гуляли в «Бристоле», большом трактире, располагавшемся неподалеку от Обводного. Здесь давали приют и брали в дело своих, без разрешения покинувших исправительные заведения, здесь купали краденое, здесь всегда можно было разжиться марафетом, здесь проигрывали в карты шмар и крутили любовь с хипесницами, задорными, как Мэри Пикфорд, или томно-трагическими, как Вера Холодная, нисколько не уступающими названным дамам в актерских способностях. С Большой Лиговкой не могли справиться уже, почитай, целый век. В послереволюционные годы Большая Лиговка расцвела и распоясалась окончательно. Война с нею плохо кончалась для одиночек – неопытных оперов. Готовился, говорят, план по уничтожению этого котла с ведьминым варевом, но пока.

Пока Лунин опасался за Марию и всегда провожал ее на работу в театр и просил дожидаться его, не ходить домой вечером в одиночку или в сопровождении верного, но никчемного, случись вдруг встреча с бандитами, Васьки Дерюгина.

И вот как-то в ноябре поздно вечером, после того как провел лабораторные занятия и ответил на многочисленные вопросы курсантов, Александр Бальтазарович зашел за Марией в театр, и оказалось, что она рождает, где-то недели на две раньше, чем выходило по расчетам наблюдавшего ее доктора. Александр Бальтазарович пришел в необычайное волнение и, вообще говоря, струсил. Он все пытался, в обход комической старухи Серафимы Райской, сунуть нос в уборную, которую переоборудовали в подобие родильной палаты, застелив и завесив все, что можно, ветхими, но чистыми простынями акушерки Розеншен. Но стойкая и широкая, словно комод, Серафима, наряженная в гимнастерку с подвернутыми рукавами, загородила собою дверь, раскинув руки, качала головой в косынке, повязанной по-комсомольски, и скрипела:

– Как хотите, голубчик, не пушу. Не пушу и не пушу. Не просите. Там совершается таинство. А вам худо станет, еще в обморок упадете. Идите-ка лучше в мужскую компанию – к Василию Петровичу и Арнольду Эмильевичу. Они в правой кулисе за декорацией с взятием Зимнего дворца укрылись и на примусе воду греют. И трясутся. Так вы их поосторожите. Как это говорится? На стреме постоите, чтобы их пожарник не застиг на... э-э-э... на месте преступления. Он тут по ночам всегда бродит привидением, пожарник наш Лавруша Неопалимый.

– Серафима Игнатьевна, пустите, прошу! И как это без доктора?

– Что значит «без доктора»? Василий Петрович привел очень опытную акушерку. Если акушерка опытная, то и доктор ни к чему. Вот, помнится, когда я в Пензе Рогнеду играла – я ведь не всегда была комической старухой, – у нас инженеру за кулисами рожать начала. И родила к концу спектакля. Визгу было! Я монолог говорю, а она визжит как резаная.

– Серафима Игнатьевна, добром прошу, пустите, – опустился до угроз Александр Бальтазарович.

– Да что же это такое! – послышалось из-за двери. – Серафима, дайте мне сюда папашу новоявленного. Мне все равно помощь нужна. А сами идите к этим вашим водогреям. Пусть поторопятся, уж скоро.

Лунин влетел в уборную, где рожала Мария, и был остановлен толчком крепкого кулачка в живот.

– Это вам спирт, фатер, – для рук. Она, извольте видеть, кричать стесняется. Политрукам не положено, что ль?

Мария возила затылком по изголовью и глубоко дышала, закрыв глаза. Она была бледна и в испарине. Эльза Генриховна пощупала пульс и что-то проделала под простыней, закрывавшей Марию. Удовлетворенно кивнула и сказала:

– Ну вот! Сейчас он явится. Минут через десять – пятнадцать. Вы, фатер, в самый раз успели. Не боитесь зрелища? Или, может, лучше комическую старуху позвать, бестолковку?

Лунин сглотнул и помотал головой:

– Я сам. Что делать, говорите.

– Прежде всего, не лишаться чувств. Ну да вы человек военный, переживете, думаю. А потом посидите с ней, когда я сыночка обрабатывать буду.

– Сыночка? – ошеломленно спросил Лунин. – Сыночка?

– А то вы не знаете! – строго посмотрела на него акушерка Розеншен. – А то не знаете.

Ничего такого он, конечно, не знал. Мария, правда, говорила ему, что обязательно родит сына, но Александр Бальтазарович уговаривал ее не загадывать заранее. И вот теперь акушерка по неведомым признакам определила, что будет сын. И он родился.

* * *

– Имя придумали? – поинтересовалась Эльза Генриховна и склонилась над отдыхающей Марией.

– Франц, – прошептала та.

– Не дело это, детка, – сказала Розеншен, так тихо, чтобы слышала только Мария, – и не время. Нельзя.

– Почему Франц, Машенька? В честь Меринга? – спросил поглупевший от переживаний Лунин.

Мария взглянула на отбросившую наконец свое легкомыслие Эльзу Генриховну, что-то вспомнила, поняла и сказала:

– Да.

– Может быть, лучше Михаил, в честь Фрунзе? – предложил Александр Бальтазарович. – Пусть будет смелым и сильным.

– Пусть Михаил, – выдохнула Мария и застонала наконец.

– Час от часу не легче, – проворчала акушерка. – Михаил в честь Фрунзе! О, суета земная! Как будто других Михайлов нет. Ну, маленький Михель, как мы себя чувствуем?

Маленький Михель мирно спал, утомленный появлением на свет.

Эльза Генриховна распорядилась к утру доставить в театр все необходимое для молодой матери и ребенка и настояла на том, чтобы Марию неделю не трогали, не сгоняли с места, и осталась при ней сиделкой. А потом как-то так вышло, что Эльза Генриховна поселилась у Луниных – в няньках при «маленьком Михеле» – и рассталась с ними лишь через три года, когда Александр Бальтазарович получил назначение в Забайкалье. Уже по прибытии на место трехлетний Мишенька обнаружил в своих вещах черепаховую табакерку с серебряной монограммой на крышке – переплетение латинских букв F и R. Он сумел сохранить ее и никогда,

даже в самые непонятные и тяжелые времена, не расставался с нею. Табакерку Миша открывать не умел, и она ничем не помогала ему, но она хранила в себе время и знание сути вещей, которое дается в детстве каждому.

Мишенька подрастал среди кулис и декораций с изображением атрибутов революции. На улице он видел и слышал то же самое, что и в театре, и спрашивал, широко открыв зелено-карие, как у матери, глаза: «Мама, почему так долго не меняют декораций? За ними что, так много паутины? Или там Лавруша Неопалимый прячется? Мама, скажи хоть ты, а то Розеншен говорит, что того знать не велено». Или, выглянув в окно и увидев, что сквозь их двор-лабиринт скупые в движениях курсанты военного училища ведут малую толпу повязанных вихлястых и горланящих блатные песни уркаганов, он спрашивал у Эльзы Генриховны: «Розеншен, это монтаж или музыкальная драма?» – «Это такой особый жанр, Михель, не скажу, что совсем уж новый. Называется трагедия-буфф. Боюсь, эта безвкусица опять надолго утвердится на подмостках».

* * *

Весною двадцать шестого года Александр Бальтазарович имел разговор с кадровиком Военно-строительной академии, своим бывшим интендантом Виктором Иосифовичем Маковским. Виктор Иосифович, взъерошенный и с понурыми плечами, остановил Лунина на широкой лестнице и, глядя на мозаичный орнамент, украшавший площадку между этажами, прогудел:

- Слышал, Александр Бальтазарович? Дмитрий Фурманов умер.
- Я слышал, Виктор, – ответил Лунин.
- А ты слышал, Александр Бальтазарович, что он собирался книгу о Фрунзе писать?
- Не знал.
- Вот я тебе говорю. К сведению.
- Принял к сведению, – кивнул Лунин. – И... что?
- Сам знаешь что, – буркнул Маковский. – Скоро приказы о переводах пойдут. А то тут

всякие-некоторые разговоры разговаривают, всякие дилетанты медицинские познания демонстрируют, о хирургии рассуждают, о том, что язву желудка оперировать – пара пустых, а уж для легендарного командарма могли бы и получше хирургов подобрать. А некоторые, под началом легендарного командарма служившие, слишком многое помнят. А вдруг они головушкой скорбные? Организуют еще какой-нибудь союз памяти со своей программой и уставом. Как альтернативу понятно чему.

– Ты, Виктор Иосифович, предлагаешь заблаговременно в отставку подать? – грустно осведомился Лунин.

– Не вздумай. Те, которые особенно мнительные, как раз и обрадуются, – предостерег Маковский. – Наверное, ничего не поделаешь. Просто будь готов к переводу в запредельные дали.

– В каком смысле запредельные? – озадачился Лунин.

– В смысле дальние дали: за Урал, на Кольский полуостров, в Туркестан еще. Да мало ли хороших мест. Пока, я думаю, этим ограничится.

– Спасибо, что предупредил, Виктор.

– Я – предупредил?!! Да с чего ты взял? Я Фурманова вспомнил, хороший писатель. А потом вслух мечтал дальние страны повидать, необозримые просторы родины... обозреть.

– Какие наши годы? Повидаем дальние страны, – грустно усмехнулся Лунин.

А поздней осенью его отчислили из академии и отправили командовать гарнизоном в далекий край – в Забайкалье.

От Ленинграда сначала долго-долго ехали поездом до Читы, потом снова поездом – до города Лихореченска. Там и поселились, согласно назначению.

* * *

Если на карте от Лихореченска провести прямую вниз – строго на юг, то она попадет как раз в точку, где сходятся пределы Монголии и Китая. Почти от самой границы Китая, из недр безымянной сопки, извиваясь, петляя, заходясь в водоворотах, течет река Лихая, быстрая, холодная и глубокая. У Лихореченска она замедляет свой бег, отдыхает в бездонных омутках, набирается сил, перед тем как отсечь от города меньшую его часть под названием Оловянка. Сразу за Оловянкой – дремучая тайга, а в глубине тайги – волки, медведи, уголовные колонии, старообрядческие скиты, ключи с целебной и ядовитой водой и заброшенные с войны оловянные промыслы.

Оловянка – на правом берегу. Это особая страна, и в ней, точно известно, есть свой правитель по имени Чимит. Его никто никогда не видел, и, по глухим слухам, Чимит – старый-пре-старый бурят, а может, тувинец, а может, гуран, а то даже тунгус или эвенк, или еще кто-нибудь, монгол ли, даурец ли, маньчжурец. Чимит никогда не ходит по рукотворному мосту через Лихую. Если ему за чем-нибудь нужно перебраться на левый берег, то он простирает руку и выстраивает свой мост, который исчезает, как только Чимит пройдет по нему. Но этого никто не видел, и, скорее всего, это сказки, и советские дети таким сказкам верить не должны. А еще говорят, что Чимит – шаман. Знаете, кто такой шаман? Колдун. Что хочешь наколдует. Вот почему всегда бывает только так: в Лихореченске – дождь стеной, а в Оловянке – сухая гроза, молоньи-шары. А летят они тем часом в Лихореченск, и хляби небесные им нипочем, заборы зажигают, собак с ума сводят, бабке Марине, лекарке-травнице с Малой Обозной, сарай спалили, где она растения сушила. Духу было! Хакимка-дурачок поблизости спал (ему что!), так сразу от туберкулеза вылечился. Хотя, может, он и поджег сарай бабке Марине, с него станется.

У Чимита под рукой все лесные люди, а кто хочет сам по себе, тот дичает, с ума сходит. Вот скажите, например, за каким лешим прошлым годом через Оловянку в Лихореченск анненковцев понесло? Банду-то Анненкова еще когда разгромили! В двадцатом году, не позже. А эти, оставшиеся, не меньше десяти лет в тайге плутали-прятались, бедовали, от самого Семи-палатинска, говорят, откочевали через пол-Сибири, в наших краях затаились, да вот – ринулись, видишь, бороной по Лихореченску прошли, убивали-резали, троих насмерть убили. Лбы тряпкой замотаны – это, стало быть, чтоб наколки не видно было. Их Анненков метил: делал наколку на лбу, букву «А», по его фамилии, значит, чтоб никуда из банды не делись. Потому они с людьми жить не могут, их по наколке сразу опознают и в острог посадят.

Этих, оставшихся, человек двенадцать налетело. Но Александр Бальтазарович Лунин бойцов послал и сам на мотоцикле впереди приехал. Вперед, славные бойцы Красной армии, говорит, вяжи бандитов и убийц. И повязали. У них огнестрельного-то оружия и не было, давно все патроны расстреляли. А когда их взяли, оказалось, что все как опоенные: глаза закатившись, слюни из рта, в судорогах бьются. А все почему? Чимита не уважили, не признали, он их околдовал и на смерть послал.

Я шаманов видел, я знаю. Если про мост – это брехня, а молоньи-шары, как ваш учитель естествознания Игнат Иваныч свидетельствует, – явление особой лихореченской атмосферы, то все остальное – про то, как Чимит себе людей подчиняет, все верно. Шаманы умеют. И называйте это как хотите: колдовством, гипнотизмом, еще как, все едино. Зачем им повелевать людьми? Да для порядка, я думаю. Шаманы порядок понимают. И Чимит считает, что он главный, потому что это его край, а все из России – пришлые. Он особенно наши власти не любит. Прошлый начальник гарнизона, молодой мужчина, куда делся? Говорят, разум у него помутился, он возьми наган да и застрелился. А перед этим казенную бумагу получил. Не иначе

как на повышение. А начальник исполкома? Его как сглазил кто, или как будто он в ядовитом озере за прииском искупался: волосы вылезли, исхудал и помер в муках. Я вам говорю: все Чимит гадит.

И еще скажите вы мне: почему в Оловянке заборов не ставят? Тайга рядом, а зверь туда не заходит. А вот в Лихореченск зимой, бывает, и шатун заглянет, и волчок забежит. Откуда? Левый берег давно пустой, зверя побили, понастроили всего до самой дали. Значит, зверье сквозь Оловянку перебирается, хотя никто следов по зимнему времени на снегу не видел, ни на мосту, ни на льду.

А что я вам тут рассказываю, вы дома не болтайте. Родители заругаются, ко мне прибегут и скажут: чему ты, старый хрен Черныш, юношей учишь? В советской стране колдунов нет, а разговоры такие – контрреволюция и мракобесие. И упекут меня. Куда подальше. Однако куда дальше-то? Разве что на Север, ледовитых китов в колхоз загонять.

* * *

Мария постепенно смирялась с тем, что Мишенька, подрастая, теряет свою детскую необыкновенность. Зимой он учился в школе, где она работала учительницей начальных классов, играл в снежки на морозе, лепил кособоких снеговиков с ребятней, катался с речного откоса на салазках. Летом целый день носился с друзьями по городу, купался (Мария точно знала) в ледяной реке, что делать было запрещено строго-настрога. Отирался вместе с такими же любителями сказок в сторожке при старом оловоплавильном заводе, где теперь делали пока кирпичи для растущего Лихореченска, чтобы не сводить лес. А в сторожке благодушествовал Черныш – гроза белок и рябчиков, похожий на Тургенева в охотничьем костюме, только борода коротко пострижена. Черныш, чтобы никто к нему не цеплялся, служил сторожем при кирпичном производстве, потихоньку браконьерствовал (как только Чимита не боялся?) и травил байки, а детишки слушали рты разинув.

Все эти годы Мария засыпала осенним деревом: не сон, не явь, и все проходит мимо, не оставляя зацепок в сознании. Мишенька рос, радовал и огорчал, но ее собственное, внутреннее, время замирало. Она пробуждалась от этой дремы и становилась прежней Марией лишь тогда, когда в Лихореченск приходили огненные беды. Частые летние пожары от молний в самом городе или в тайге действовали на нее благотворно, она сама загоралась – весельем, радостью, обновленной любовью к мужу, охотой к любой деятельности. Пусть весь город в дыму таежного пожара и выйти из дому можно только обмотав лицо мокрым платком, чтобы не угореть, – тем веселее.

Огонь – значит, время понеслось на всех парах, значит, топка времени переполнена так, что огонь, гудя, вырывается наружу. Прозрачно-белый, золотой, алый, он вихрится тугими розами, разбрасывая искры, рыжеватые на излете.

Но когда пожары утихали, к Марии приходило желание тихой смерти, такой, что постигла шиповник у нее в палисаднике после особенно жгучей зимы. Она, в предутренние часы, выплывая из своей собственной зимы, из своего сна, желала такой смерти и для мужа и просыпалась в ужасе от греховности своего пожелания. Свой грех она пыталась искупить горячими ласками. Но лишь только тело начинало забывать об испытанном наслаждении, Мария с еще большей остротой чувствовала, что легкая смерть сейчас была бы благом. Она словно принимала отчетливый сигнал из другого мира, и мир этот порою казался ей более реальным и вещным, чем тот, в котором они обретались ныне. Теряла ли она рассудок? Рассудок ни при чем, когда обостряется интуиция и одолевают предчувствия.

А вот Александр Бальтазарович воистину сходил с ума. Сходил с ума от никчемности своей теперешней деятельности. Вернее, бездеятельности. Повседневные обязанности главы гарнизона были весьма однообразны и занимали совсем мало времени. Немногим лучше каза-

лись вялые ежегодные учения. Лунин рвался в бой, но война, даже на Дальнем Востоке, давно закончилась, границы закрылись. Иногда из Китая налетали семеновцы, но Лихореченск был словно под заклятием – его обходили далеко стороной. Поэтому, когда вдруг из леса налетели пьяные бандиты в лохмотьях, Александр Бальтазарович, оседлав мотоцикл, сам возглавил операцию по их захвату, хоть и не по должности ему это было. Он время от времени просил о переводе, но раз за разом получал отказ.

А потом наступила весна тридцать седьмого года, и Александр Бальтазарович из газет узнал, что арестовали Якира, с которым он был знаком по Южному фронту и по Крыму. Обнаружился, оказывается, военно-фашистский заговор, возглавляемый Тухачевским, и Якир, а также Уборевич, а также еще пятеро из самой верхушки армейского командования были арестованы и пытаны. То, что пытаны, стало понятно, когда опубликовали дружные признательные показания. Зачем бы им признаваться-то, даже если и виновны? Кстати, доказательств вины, по сути, никаких и не было, а лишь «признания». Советский народ, как было ясно видно из газет, осудил заговорщиков, как осуждал до этого троцкистов и бухаринцев. Подрывной деятельности заговорщиков был противопоставлен трудовой энтузиазм.

Кроме того, нашли свой отклик призывы партии к бдительности. Усиление народной бдительности Лунин с некоторых пор стал ощущать на себе. Начальник особого отдела его разве что в сортир не сопровождал, а лицо, отвечающее за политическую грамотность и благонадежность, полюбило в частных беседах экзаменовать Александра Бальтазаровича и порою укоризненно морщилось, когда что-то не устраивало его в ответах Лунина или когда Лунин посылал это лицо выполнять свои прямые обязанности в Красном уголке казармы.

И конца бы этой докучной опеке не было, если бы в декабре из Читы ему не пришло предписание явиться в комендатуру за получением нового назначения.

– Саша, – обмерев от предчувствия, прошептала Мария, – Саша, до китайской границы не дальше чем до Читы, там кто хочешь ходит туда-сюда, присмотра толкового нет, ты же знаешь. Тебя бы тот же Черныш проводил, все знают, что он и в Китай, и в Монголию потихому гуляет, друзья у него там, а нас с Мишенькой не тронут.

– А что потом, Машенька? – обнял ее Александр Бальтазарович.

– Как-нибудь уж.

– Ну что ты себе выдумала? – успокаивал жену Лунин. – Обычное предписание, и, слава богу, дождались наконец. Здесь хоть волком вой.

Первым вопросом, который ему задали в комендатуре, был вопрос о том, знаком ли он с Якиром, Ионой Эммануиловичем. После утвердительного ответа его арестовали, и он умер мучительной смертью, не дожив до расстрела, потому что ему не пришлось в голову подписывать самооговор.

За Марией приехали через три дня. Ее ждал лагерь.

Четырнадцатилетний Миша отправлен был в специнтернат, находившийся, по совпадению, неподалеку, выше по реке Лихой в поселке Китайка. Туда привозили детей врагов народа со всей страны и воспитывали в верности отечеству и партии большевиков, потому что дети-то за отцов не ответчики.

Внезапная разлука тяжело переживается в подростковом возрасте. В душе ты еще ребенок, но показывать это стыдно. И любовь к родителям свернулась в клубочек где-то глубоко-глубоко, наверное, в одном из сердечных желудочков. Но по-настоящему чтить отца и мать свою Миша начал уже после войны, когда многое повидал и понял. Главное, он понял – нет, не понял, а уверовал в то, что его родители никакими преступниками не были, а погибли оттого, что оказались лишними, оказались не в своей сказке.

Глава 6

...любовь есть, собственно говоря, не что иное, как весьма болезненное психическое состояние, своего рода частичное безумие, выражающееся именно в том, что мы начинаем принимать какой-нибудь предмет совсем не за то, чем он является на самом деле; вот, скажем, приземистую и корпулентную барышню, ищущую чулки, начинаем считать богиней.

В семнадцать лет понятия о красоте бывают весьма своеобразными, а если ты растешь в коллективе и оторван он родителей, которые могли бы обратить твоё внимание на то, что у твоей пассии Лельки Ильченко глаза мороженого судака, фигура и ноги белой медведицы, а длинная кудрявая челка приглажена явно с помощью сладкого чая, так вот, если ты растешь в коллективе, то следуешь поветрию – своего рода моде на ту или иную девчонку, а не руководишься велениями хорошего вкуса.

Откуда эта мода берется? Ну, скажем, начинают мальчишки в спальне после отбоя рассуждать о том, кто страстнее – негритоски, или мулатки, или индейки (или, как их, индианки?). Спорят, спорят, с глубоким знанием дела спорят, чуть не до драки, пока не заявит Обмылок, воспитатель ненаглядный Мылкин, Олег Борисович, и не пригрозит нарядом на уборку туалетов. Тогда начинают шепотом обсуждать хотя и не такие экзотические, но вызывающие ничуть не менее живой интерес прелести своих же девчонок. И кому-нибудь из признанных эстетов, например Куре, то есть Альке Окурову, вдруг взбрендит, что у Ирки Косоротовой великолепная, словно выточенная из мрамора шея, и просит эта шея поцелуев. И хотя шея как шея, просто Ирка на шею нитку с ракушкой вешает, всем начинает казаться, что именно «просит», и потом уже по понятным причинам всем не до сна: во рту полно слюней, не успеваешь сглатывать, ну, и – все остальное... дыбом. Ну, скажите, ну не сволочь Кура?!

На следующий день Ирке Косоротовой стаями летят записки с откровениями: «В 13 лет любовь опасна, в 15 лет любовь прекрасна, в 17 (и подчеркнуто) лет любовь жива, а в 25 уже стара». Опа! Ирка, конечно, начинает думать, что она королева красоты, и ходит дура дурой, накручивает косу на палец, щурит мышинные глазенки и щебечет нечленораздельно, как китаянка. Девчонки-обезьяны тоже начинают косы крутить, у кого есть, щуриться и мямлить. И тут каждый из претендентов на Иркину шею вдруг понимает, что жестоко, непоправимо ошибался. Ирка, заметив, что круг поклонников тает, пытается сохранить хоть кого-то. Шлет этому кому-то некое послание. Ну, что-то вроде: «Эдик! За все, за все тебя благодарю: за тайные мучения страстей, за горечь слез, отраву поцелуя, за месть врагов и клевету друзей!» Эдик, втайне гордясь, с небрежным видом обнаруживает в спальне настоящее послание и приобретает популярность, которая не снилась и Байрону. Отныне внешность Эдика-Байрона не портит даже отвисшая и вечно мокрая нижняя губа. Не портит до тех пор, пока не сыщется новый коварный соблазнитель, да хоть Мишка Лунин.

Из-за чего, спрашивается, весь сыр-бор и африканские страсти? Да только из-за того, если помните, что доморощенному писателю и поэту Куре, одолеваемому демоном сладострастия, пришло в голову свежее сравнение чьей-то там шеи с мраморной колонной. И тот же Кура, между прочим, всю эту историю с поруганной красавицей Иркой Косоротовой и мятежным романтиком Эдькой Губошлепом в облагороженном виде изложит в очередном своем сочинении, и все поголовно будут просить переписать это самое сочинение. И Кура, сам и заваривший всю кашу, получит на зависть мужикам из десятого класса очередную порцию славы и девичьих рукоплесканий. Ну, скажите, ну не сволочь Кура после этого? Сволочь и паразит. И лжец.

Не кто иной, как Кура безбожно переврал историю гибели Лельки Ильченко. Он изложил эту историю примерно так.

Любовь и смерть

Они вместе росли в детском доме и любили друг друга с детства. Нет, сначала то была не любовь, а нежность – предвестие более глубокого и страстного чувства, которое охватило их пламенеющим пожаром в семнадцать лет. Она – высокая и статная, с глазами светло-серыми, как жемчужные облака, с губами свежими, словно лепестки розы. Ах эти губы! Они ждали его молодых поцелуев. А имя ее звучало тихим звоном полевого колокольчика – Леля. Его звали Геннадий. Был он высок и строен, со светлыми, всегда взлохмаченными волосами, что необыкновенно шло к нему.

И дальше все в таком же роде. По Куре выходило, что во всем виноват Мишка Лунин, коварный соблазнитель, разбивший сердца влюбленных.

А что на самом деле? На самом деле известная оторва Лелька Ильченко гуляла в данный исторический момент с Генкой Лузгиным. А остальные стояли в очереди. Потому что прослышали, что Лелька, как это называется, «побывала в руках». Побывала в руках у Вильки Африканова, призывника из поселка Китайка, и теперь, когда Вильку призвали, Лелькина страстная натура требовала еще чьих-нибудь «рук». Это по слухам. Генка-то хвастался в спальне, что сам «распечатал» Лельку на опушке, пока остальные сено сгребали, и смаковал подробности.

По Куре выходило следующее:

Однажды он подарил ей букет необыкновенных ярко-желтых цветов. То были дикие таежные тюльпаны. Он сказал ей:

– Любимая, хочешь, я покажу тебе целую поляну таких цветов? Мы утонем в них, будем упиваться росой из их золотистых чашечек.

Леля, понимая, что означает такое приглашение, зарделась нежной краской и тихо сказала:

– Да, Гена, я согласна пойти с тобой упиваться куда угодно...

Они долго шли по мягкому мху и вышли наконец к волшебной поляне, всей в золоте влажных цветов. Он с усилием подхватил ее на руки, как ребенка, и начал страстно и нежно ловить и целовать в губы. Длинные и свободные, не знавшие гребня дикие кудри ее растрепались, а молодая грудь высоко и страстно волновалась. От порывистого волнения пуговка на ее простенькой блузке расстегнулась на самой, самой груди, молодая грудь в лифчике, обшитом кружевами, обнажилась наружу и вывалилась. Он целовал ей грудь, уложив ее прямо на мокрые от росы цветы.

Он что-то шептал, трогая ее грудь и повсюду, но от пронзившей ее боли и непонятного сладостного треска она ничего не слышала, кроме своего вопиющего крика...

Вот интересно, самому Куре не понадобилось срочно кое-чем заняться в уединении, когда он описывал эту сцену? И где он видел, спрашивается, желтые таежные тюльпаны? Но кое-что здесь вышло верно: для того чтобы поднять Лельку на руки, действительно, требовалось приложить кое-какие усилия. И про не знавшие гребня кудри: Лелька была правда вечно лохматая. А пуговицы у нее на блузке вечно на ниточке висели.

Да, так при чем тут Мишка Лунин? При том, что Генка скоро надоел Лельке, и она назначила свидание Мишке – со значением. Не откажешься же? Куда там отказываться, если весь интернат ну просто дышал этой историей. К тому же Лелька была в моде и всем поголовно нравилась, и Мишка не был исключением. К тому же давно хотелось попробовать, как это по-

настоящему происходит. Тут тебе и любопытство, и нежелание ударить лицом в грязь перед товарищами, и – главное – соблазн. Ах какой соблазн!

И ничего не вышло, потому что Лелька что-то такое гадостное сказала Генке, что он столкнул ее с моста через Лихую. При всем честном народе, то есть при представителе народа пьяненькой пастушке Марфушке, которая и подняла дикий крик. Лельку утянуло в омут, и тело с трудом выловили. Лицо опухшее и синее, блузка настежь, а под ней – тот самый лифчик, криво-косо обшитый кружевами. Девчонки сами шили себе бельишко и физкультурные тапочки в швейной мастерской.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.